

**ТИБУЛ И ДРУГИЕ ИСТОРИИ**

**ОГЛАВЛЕНИЕ:**

<b>КРЫЩУХИ.....</b>	<b>2</b>
<b>ЗОЛОТОЕ ЯБЛОКО.....</b>	<b>3</b>
<b>КУОРТ.....</b>	<b>6</b>
<b>ПРИДЕТ СЕРЕНЬКИЙ ВОЛЧОК.....</b>	<b>10</b>
<b>ЖИВАЯ ГРЯЗЬ.....</b>	<b>12</b>
<b>АНДРЕЙ.....</b>	<b>15</b>
<b>ТИБУЛ.....</b>	<b>18</b>
<b>МОНТРЕЗОР.....</b>	<b>22</b>
<b>ШКУРКА.....</b>	<b>28</b>
<b>ПОХИЩЕННАЯ.....</b>	<b>32</b>
<b>ДЖЕК.....</b>	<b>34</b>
<b>TNT.....</b>	<b>35</b>
<b>МОЛЕЛЬНЫЙ РОБОТ ЗАХАРИЯ.....</b>	<b>36</b>
<b>ТРИНАДЦАТАЯ НОЧЬ.....</b>	<b>40</b>
<b>ПРОГУЛКА К АЗАЗЕЛЮ.....</b>	<b>49</b>

## КРЫЩУХИ

- Крыщух-то травить будете?

В голосе старосты звучала то ли надежда, то ли, напротив, опасение. Он хитровато глядел снизу вверх на приезжего, почесывал бороду грязноватой пятерней, а за спиной его собрался чуть ли не весь поселок. Запрокидывались серые лица, раззявливались рты, детишки тыкали пальцами. И то - не каждый день к ним в глушь наезжает землемер из города. Справились бы с весенней разверсткой полей и сами, но указ был ясный - если одолевают крыщухи, надо выписывать из города землемера. И поднатужились, и выписали.

Землемер ожиданий не оправдывал. Среднего роста, кряжистый, в плечах широкий, в какой-то косоворотке - мужик, одним словом, а никакой не ученый. Голос у него, впрочем, был чистый, звонкий, и глаза не по-деревенскому цепкие.

- Буду. Сегодня вечером и вытравлю. Как, сильно вредят?

- Не то чтоб вредят, - тут староста малость смутился и оглянулся на односельчан.

Разговор шел у калитки его дома, откуда открывался вид на единственную поселковую улицу, всю в колдобинах. Дома кособочились вдоль нее, с палисадов свисало тряпье, битые горшки шерились тут и там. У соседнего дома чесался шелудивый пес, а его хозяин стоял сейчас в толпе, и вид у него, как и у пса, был недоумевающий и обиженный. Из приоткрытого рта свисала нитка слюны, и ветерок чуть шевелил ее, и плескалось под ветром тряпье на заборах. Землемер глядел на поселковых, и было ему муторно. Так вот и проходит жизнь, думал он, так вот и пройдет.

Староста между тем продолжал:

- Пошаливают иногда. Зерно там попортят, жито. Или в пшенице бегают, бегают, всю ночь слышно- шурх и шурх. Ходы роют, отсюда и до самого леса. Шкодят. Но не как стервецы, конечно, этого не сказать.

Слушатели закивали.

- Только, понимаешь...

Тут староста вновь запнулся и зачесал в бороде так яростно, что пес у забора замер и уважительно на него уставился.

- С детьми плохо. Больно уж много малых воруют. У Селечихи вон, третьего дня - или на той седмице, что ли - дочку уволокли. Нет, все честь по чести, полено в колыбель положили. Полено они всегда кладут, этого не отнять.

Деревенские опять закивали.

- Нам-то от этого хорошего много. Полена - они справные вырастают. Работники. Мой сарай переложили на Пятицу, так иной умелец из города так не переложит. Столярничают, опять же. Или огород там вскопать, или в плуг, соху их впрячь - это как раз. Да вон, гляди - идет Бородковское полено. Поди, лет двадцать назад его подкинули, и такое справное выросло!

Землемер оглянулся. По улице шагал мужик. Шагал, тяжело накренясь, побряхтывая, впряженный в огромный воз. На возу горой высились горшки. Рядом с возом топал худой старикашка и временами подстегивал впряженного хворостиной.

- Бородок не нарадуется. Такое рукастое полено ему попало - всем бы такое. Так что даже и не знаю я...

- А дети-то? С детьми-то что?

Вмешалась крепкая молодуха. Она прижимала к груди слабо поквакивающий сверток, а глазами грозно сверкала на старосту.

- Дети-то, кровиночки! Что там с ими ироды эти делают, в норах своих? Жрут или мучают, а ты и рад! И-эх!

- Цыть, баба! - выверился староста. - Сопли вон лучше Дуньке своей утри.

Баба, однако, не смутилась. Стояла, раздувая ноздри, и несколько теток из толпы кивнули согласно - мол, права она, права.

Староста обернулся к землемеру, виновато развел руками.

- Бородковская эта. Слышь. Это братана ее старшенького крыщухи утащили.

- И правильно сделали, - добавил он, оглянувшись на бабу, - глядишь, вырос бы из него стервец какой-нибудь, уж бы он тебя маленькой и сожрал.

Молодуха гневно фыркнула, взметнула юбками и зашагала к крайней избе. Землемер проводил ее взглядом до самого тына.

- Бородковские эти, одни с ними неприятности, - воркотал из-за плеча староста. - Много о себе думают. У них-то уж поди разов пять утаскивали, удивляюсь, как и эту не утащили.

Землемер смотрел на тын. Крепкий, высокий, из новеньких, свежееобтесанных поленьев. Видать, запряженный мужик и тесал. Мало какой умелец из города такое бы спроворил...

Из трубы Бородковского дома поднимался дымок. Тонкий, бледный, он тек к серенькому небу, и землемеру казалось, что он чувствует запах этого дыма. Пахло ржаным хлебом, добрыми сосновыми дровами, стиркой из большого корыта, пахло мокрой глиной и немного-домом. Землемер не помнил, где у хозяина была обустроена печь для обжига горшков. Он вообще мало чего помнил.

Воз, медленно катившийся по улице, подъехал к воротам. Старый Бородок крикнул, и ворота открылись. Землемеру хотелось увидеть что там, за высоким тыном, но увидел он лишь клочок смятой травы на въезде.

Голос старосты стрекотнул под самым ухом:

- Ну что, мил человек? Будешь травить? У вас там, говорят, и яд припасен особый?

Землемер молча потянул из-за спины мешок. В мешке был плотно запечатанный горшок, доверху наполненный густой, белой пастой. По виду это вполне могло бы быть ядом. Но это был сахар. Землемер усмехнулся, подумав о том времени, когда в горшках, действительно, хранился яд. Страшно подумать, что творилось бы здесь, если бы господина нашего волостного заседателя тоже не воспитали крыщухи. Надо будет сказать вечером Полли и Вигену, чтобы забрали к себе Дуньку. Племяшку.

2005

## **ЗОЛОТОЕ ЯБЛОКО**

Ханс выщипывает мелкие перышки в паху своей девушки. Вообще— то, для этого существует специальная машинка, но Птице нравится, когда это делает Ханс. Машинкой, мол, больнее и дольше. Кроме того, многие знатоки уверяют, что выщипанные руками перья лучше действуют. Вот и сейчас – легкий пушок сыпется на заранее подстеленную простыню, а где— то на другом конце вселенной я выгребаю жетоны из автомата. Жетонов уже столько, что они прут из щели золотым потоком, звеня, раскатываются по полу, и все посетители казино столпились за моей спиной, дышат в затылок, надеясь урвать свою долю везения. Ханс всегда предупреждает меня о Дне Эпиляции. Такой уж у нас уговор.

Мы были друзьями десять лет, потом он убил меня, потом я три года охотился за ним. И наконец – нашел.

Все было почти так же, как три года назад. Ханс пускал пузыри. Болтаясь в воде под старым пирсом, со связанными руками, он еще ухитрялся глотать воздух. Живучий,

бес. Справа от его головы покачивался ржавый буюк, слева – дырявый кондом. Он мог умереть до моего прихода, и это была бы паршивая смерть.

Я бросил ему канат. Он ухватился за него зубами, и я поволок его на пирс. И сам чуть не плюхнулся в воду – ребята, прикрутившие к его ногам свинцовый груз, знали свое дело. Сам бы я выбрал железо. У оборотней на железо аллергия, и голеней мой дружок бы уж точно лишился.

Ханс не узнал меня сразу. В глаза ему налилось немало дерьма из– под пирса, а нюх, похоже, тоже отбило начисто. Он валялся на бетоне издыхающей рыбиной, и кашлял, и отплеывался. Только когда неожиданный спаситель не поспешил почему– то избавить его от веревок, он поднял голову. И встретился с моим взглядом.

Мы познакомились тогда, когда Ханс решил угнать свою первую тачку. Ему не повезло. Это оказалась моя тачка. Кабриолет. Я гордился им, а потому не поспешил на парочку охранных штучек. Я нашел Ханса утром, полузадушенного, намертво прикрученного к капоту. И наполовину обращенного. Он порвал цепь, но сделать с моими штучками ничего не смог, и застрял вполне безнадежно. Серый хвост хлестал по супер–навороченным инфракрасным фарам, а зубы щерились в недобром оскале. Я освободил его. Мы выпили по пиву. Потом он помог мне повернуть одно дельце. И еще одно. Мы неплохо заработали. Свалили в Сент– Лу, прогулялись по барам и девочкам. Ханс попал в неприятности. Я вытащил его. Потом я попал в неприятности. Он вытащил меня. Кажется, люди называют это дружбой. Не знаю, как называют это оборотни.

А потом он убил меня.

Нет. Неправильно. Сначала была Птица.

За Птицей меня отправила Мамама. Я, дурень из дурней, я, позорище всего Клана – короче, я ухитрился израсходовать последнее перышко удачи. На Ханса. Он крупно досадил тогда Рыжему Ихасу, шестерке Магистра Убийц. Ханс пропал, я искал его, искал три дня, и нашел, избитого и задыхающегося, под причалом прогулочных яхт, в Старом Порту. Он пускал пузыри. Я успел тогда вовремя. Мое своевременное вмешательство пришлось бы оплачивать Хансову Клану, не будь он одиночкой. А так – наше перышко пыхнуло и истлело, и мне надо было идти за новой Птицей. Конечно, Ханс увязался за мной.

Он помог мне. Хранители нашей Птицы – Убийцы, и Ханс изрядно подсобил мне, превращался он и в Коня Рыбников, и в Бронзовку Ткачей. Ханс – полиморфный оборотень, и только в Волка Убийц он отказывался превратиться. Боялся застрять. Я возвращал его обратно каждый раз, ведь когда– то, по большой, видать, пьяни, Ханс шепнул мне на ухо свое истинное имя. Имя, превращающее его обратно. В человека. Но Волком Убийц Ханс все равно отказался быть. Слишком уж волчья была у него натура. Обращишься – и не вернешься. Так что Волчонка мы добывали честно, и Убийцы – уговор дороже денег – отдали нам взамен нашу Птицу.

Почему Звери Удачи не возрождаются в своем собственном Клане? Всякие философы от пивной бочки говорят – мол, так хранится равновесие, мол, так удачи у всех будет поровну. Как же! Удачи поровну никогда не бывает, каждый стремится урвать себе перышко побольше. Так я думал, пока не увидел Птицу. А как увидел, перестал думать. Совсем. Успел только подумать, что зря Мамама послала на это дело меня. Лучше бы слепого Вара. Но, клянусь Последним Пером – сияние этих крыльев пробилось бы и сквозь его слепоту...

Никакая она была не Птица. Человек, как я и вы. Или, скорее, как Ханс. Но она не превращалась. Она была сразу – и человеком, и Птицей. Мы освободили ее из клетки,

едва выбрались из Цитадели Убийц. Она стояла перед нами, и ветер чуть пошевеливал перья над ее лбом, и перья переливались алым и голубым, как волны на закате. Тогда я впервые увидел, как Ханс плачет. Так, плача, он и убил меня.

Вам когда-нибудь делали пересадку печени? Не говоря уж о том, что печень до этого вырвали у вас голой рукой. Лапой. Той же лапой изломали ребра, порвали сухожилия. И только сердце оставили биться.

Когда я очнулся на операционном столе, в глаза мне ударил яркий свет, и замелькало белое и красное... Мне не дали наркоза, боялись, что не откачают. Я лежал в мелькании красного и белого, а затем перед глазами появилось зеленое – это док протянул занавеску, чтобы меня не слишком шокировал вид вываливающихся из моего брюха кишок. Я лежал и вспоминал ее глаза. А о Хансе вообще не думал. Потом врачи с облегчением говорили, что у меня был болевой шок. Иначе я бы не выжил.

Нет, я не ненавидел Ханса. Точнее, так – сначала я хотел найти ее, а потом обдумать, что делать с Хансом. Получилось наоборот. Связанный, он лежал у моих ног, и отплеивался морской водой вперемешку с городскими отходами. Почти как три года назад.

– Ну, что будешь делать? Может, отправишь меня обратно?

Ханс ухмылялся. Он всегда ухмылялся, когда чувствовал себя неловко. Воображаю, как неловко ему было сейчас.

Я присел на корточки – достаточно близко, чтобы он слышал даже тишайший мой шепот, но все же недостаточно для того, чтобы он достал меня зубами.

– Где Птица?

Ханс глядел на меня исподлобья. Долго глядел. Потом мотнул башкой, рассыпал фонтан вонючих брызг.

– Я покажу тебе. Освободи ноги.

На сей раз пришла моя очередь ухмыляться. Я – то знал, как он бежит. И как легко проломить этими ногами грудину – тоже знал.

– Я не убегу. Не нападу. Не веришь?

Нет, Ханс, не верю. Не верю ни во что, кроме 45-го калибра, который убийцы называют Пещерным Волком. Не верю с тех пор, как имя мое стерли из списков Клана, с тех пор, как я стал гребаным, бесполезным одиночкой. По твоей, Ханс, вине. И это я тебе припомню – где-то между похищенной Птицей и моей вырванной печенью.

Я перерезал веревки и вздернул его на ноги. Бежать он, похоже, не мог. Так, ковылять. Руки своего бывшего дружка я оставил связанными.

Мы шли по пирсу – он впереди, хромяя, я сзади – с 45-м. Ночь уползала за море, уступая место кисельному рассвету.

Когда-то все было Садам. Звери Удачи и люди – мы мало отличались тогда друг от друга, бродя по узким дорожкам среди первобытных рощ. А потом один из нас – кто-то говорит, что Зверь, а кто-то – что человек – решил полакомиться золотыми яблочками. И поймал свою первую Птицу...

Моя Птица. Да, клянусь Последним Пером, я называл ее своей все эти годы. Представлял, как найду ее. Освобожу от Ханса-Оборотня. И... что дальше? Будет ли она моей, только моей удачей? Верну ли я ее Клану? Кажется, я не думал об этом. Кажется, я только хотел еще раз заглянуть в ее глаза под колышущейся вуалью из синих перьев.

Ханс жил в небольшом домишке на городской окраине, неподалеку от порта. Беленый, глинобитный, приземистый – так не похоже на Ханса. Вокруг дома тянулась невысокая изгородь, а за ней покачивались верхушки деревьев. Сад. Ханс, окучивающий

картошку и поливающий яблони – эта мысль рассмешила меня настолько, что я даже перестал следить за тощей спиной идущего впереди меня человека.

Он не обернулся на мой смешок. Пинком распахнул калитку – во дворе, затененном тростниковой крышей дома, еще было сыровато и мрачно – проковылял по ровной дорожке между двумя рядами подсолнухов и вошел в дом. Мне ничего не оставалось, как последовать за ним.

Восходящее солнце заливало комнаты желтым светом. Маленькие комнатки, просто и плохо обставленные – мой номер в здешней ночлежке показался бы по сравнению с ними почти роскошным. Мы протопали в молчании через кухню, и Ханс распахнул заднюю дверь, ведущую в сад.

Солнце ударило мне в глаза. Я зажмурился, поэтому скорее услышал, чем увидел – легкий шелест, топоток почти невесомых ног и вскрик.

А затем меня затопило синим сиянием. Птица, моя Птица, повисла на шее у Ханса. Ее перья скрыли его лицо, но, думаю, он улыбался. Задышающийся голосок всхлипнул:

– Ты вернулся! Я успела, Ханс, ты вернулся!

Они жили скромно. Ханс поигрывал иногда по маленькой в портовом казино, но, похоже, ему жаль было каждого ее перышка, каждой пушинки. К тому же им не стоило привлекать к себе внимание. Ханс работал в порту. Грузчиком. С его силищей зарабатывал он неплохо. А как заброшенный пустырь за его домом превратился в уголок того, давнего Сада... Не знаю. Они любили друг друга. А меня Птица, кажется, даже не помнила.

Мы пили кофе в саду. Молчал я, молчала Птица, говорил один лишь Ханс. Кажется, пытался объяснить что– то, или рассказывал о событиях сегодняшней ночи – не помню толком. Я прикончил свой кофе, доел печенье и встал. Мне нечего было делать здесь.

Уже у двери дома меня остановило легкое прикосновение. Я обернулся. Птица стояла за моим плечом и смотрела на меня... с жалостью? С благодарностью? С облегчением?

Она коснулась моей груди кончиками пальцев – мое так и не убитое сердце забилося сильно и глухо, но я не решился дотронуться до ее руки. Она сказала:

– Я буду твоей Удачей, Иво.

Ханс выщипывает мелкие перышки в паху своей девушки. Вообще– то, для этого существует специальная машинка, но Птице нравится, когда это делает Ханс. Машинкой, мол, больнее и дольше. Кроме того, многие знатоки уверяют, что выщипанные руками перья лучше действуют. Вот и сейчас – легкий пушок сыпется на заранее подстеленную простыню, а где– то на другом конце вселенной я выгребаю жетоны из автомата. Жетонов уже столько, что они прут из щели золотым потоком, звеня, раскатываются по полу, и все посетители казино столпились за моей спиной, дышат в затылок, надеясь урвать свою долю удачи. Я нагребая полные горсти жетонов и швыряю в толпу, смеюсь, ору что– то веселое. Я удачлив. Я самый удачливый человек в этом гребаном мире.

2004

## КУОРТ

Дом Куорта стоял на отшибе. Остальные дома скупились вокруг деревенской площади, как поганки на древесном срубе. Плоские крыши засыпал снег. Снег похрустывал под ногами, под копытами горбатых шмару, дыхание коркой намерзло на

их ноздрях. Вершина Горы вся скрылась под снеговой шапкой, и села в долине со страхом ожидали лавин. Неуютно жить под вечным козырьком Горы, дико и ветрено - что в домах, что на узких полосках полей. И все же люди тянулись к теплу. Только Куорт жил в своем островеверхом доме в самой тени Горы, а дальше шли уже оползни, кустарник, камни, снег и лед - и ничего больше до самой вершины.

У всех дома были каменные, а у Куорта - тростник да пустые стебли бамбука, привезенные из долины. Как завывал в щелях ветер! Как холодно было сидеть зимой у дымящего очага, варить в котелке рис и заправлять его вяленой рыбой. Рыбы, кстати, оставалось немного. Куорт делал нужную всем работу, но люди его не любили. Люди приносили слишком мало рыбы и сладких кореньев, а ведь для работы Куорту нужно было много сил. Поэтому летом приходилось трудиться на крохотном поле, втиснутом между домом и рядом ям. Когда у Куорта был старший сын, еды хватало. Но старший сын ушел в Гору, упав семь лет назад со скалы. Этим летом на поле вышел младший, они проработали с матерью до первых осенних холодов. А когда ударили заморозки и пришла пора собирать урожай, младший сын и жена Куорта съели плохой рыбы. То ли была она недовялена, то ли какой-то злой человек специально подкинул ее, но двое промучились и умерли к закату. Куорт в тот день не ел рыбы, он решил побаловать домашних, ведь рыбы было мало. Старейший пришел к Куорту через три дня и предложил взять новую жену. Принес заодно ячменной водки. Водку Куорт выпил, а от новой жены отказался. Эту, умершую, он привел из долины. Красива была она и молода, а Куорт уже немолод и рыж. Не хотела идти сначала, плакала. Куорт отдал за нее трех шмару. На свадьбе сидела она грустная, не ела, не пила. Еще грустнее стала, когда увидела бамбуковый дом в тени горы. От ям до дома и сотни шагов не будет, так что жена ночью боялась выйти за порог, да и днем не глядела в ту сторону, когда несла воду из колодца. Потом смирилась, конечно. Родила сыновей. Много радовалась. Женой Куорта хорошо быть - ни муж, ни дети не уйдут зимой на гору, душу свою яхсу отдавать. Никогда не увидишь у порога широких следов, полосок от тупых когтей. Хорошо глядеть на чистый белый снег, с маленькими следами от детских сабо, с большими мужниными следами, с собственными узкими. А тех следов не будет. День не будет, два не будет, до самого конца зимы не будет. Яхсу ходят в деревню, топчутся перед каменными домами. Увидишь четырехпалый след у двери - значит, выбрали тебя яхсу. Ступай на Гору, душу свою носи проголодавшимся духам. Деревенские каждое утро со страхом смотрят на снег под своими окнами, а женщина Куорта может спокойно носить воду из колодца и варить вкусный рис. Дети Куорта могут смеяться и подниматься на два или даже три стага в гору, а другие дети не посмеют кидать в них камнями - вдруг яхсу обидятся за своих избранных.

Жена долго оставалась красивой. Подкосило ее горе, когда старший сын в гору ушел, подкосило, но не сломало. Родила другого, пела ему долинные песни, лепила сладкие колобки. Этим летом он вышел с ней в поле, рвал руками колоски, выдергивал упрямую сорную траву. А осенью их не стало - черноволосого сына и черноволосой жены, только Куорт остался. Старейший хотел привести Куорту новую жену, чтобы родила она сына, ведь в деревне всегда нужен Куорт. А тот только головой мотнул. Старейший решил не спорить и подождать до весны.

Пламя в очаге неяркое. Желтое, лохматое, стелется по полу, хочет лизнуть протянутую ему руку. А рука-то будто из дерева резана - прожилки корней бугрятся под темной кожей. В руке плоска с рисом, риса-то на самом дне, рисинка от рисинки отделилась, можно их посчитать. Куорт выкладывает рисинки на циновку. Девять - ряд, как в ямах за домом. Больше девяти нельзя, иначе десятый обидится и встанет ночью, будет скрестись под окнами, ворчать жалобно. Мало того, что душу отняли, так и в яму-то не так положили. Поэтому Куорту надо уметь считать, чтобы ям было девять в ряду, не больше, не меньше. За те тридцать зим, что помнил Куорт, ямы потеснили его поле почти на стаг. Мало кто будет растить ячмень в двадцати шагах от похороненных, но тут уж

ничего не поделаешь. Зимой в горах холодно. Чтобы подняться, да найти ушедшего к яхсу, да притащить его вниз, да долбить мерзлую землю - для всего этого надо много сил. Много надо есть: риса, ячменя, жирной рыбы. А оставлять ушедших в горах нельзя. Иначе обидятся яхсу - им-то тело ни к чему, они душу только едят. Обидятся и спустят лавину. И покойники обидятся, придут в деревню, заморозят ее своим холодом. Лягут в землю где попало, и не будет ни травы, ни злаков весной, умрут от голода шмару, а с ними и люди умрут. Вот отчего работа Куорта такая важная. Вот отчего яхсу его не позовут на Гору, душу его не выпьют. Служит он и людям, и яхсу, ходит и по Горе, и по деревне, видно, есть в нем особая сила.

Только сейчас Куорт этой силы не чувствовал. Совсем мало риса, мало еды, пламя в очаге дымит. Рядом с очагом стоят сабо. Побольше - жены, и поменьше - сына. Куорт дотронулся до маленьких, но дерево было холодным, будто и не знало тепла человеческой ноги. Эти сабо он купил в долине, обменял на вяленое мясо шмару, ведь в горах дерева не было, и сабо точить было не из чего. В горах только сухая трава, кустарник колючий и снег. А на Горе и того нет. Одни камни. Понятно, никакая живая тварь не хочет селиться рядом с обителью яхсу. В Гватумбе, самом большом селе долины, не слишком-то верят в яхсу. И называют их ямба, белые. Говорят, что похожи они на зверей, мех у них, как у снежного зайца, в пасти три ряда зубов, и кричат они, как ветер в ущелье. Яхсу не спускаются в долину. Жена Куорта тоже не верила поначалу, но потом увидела ямы, да и следы ей показали, давние. В ту зиму, когда Куорт привел жену в дом, яхсу позвали всего троих - сына Вахши, Ласи и Пошигу. Пошигу жаль было, у него молодая жена рожать как раз собралась, хотя куда зимой рожать. Жену Пошиги взял в дом его старший брат, назвал сына своим. Так все устроилось. Этой зимой не то. Снег десять дней как выпал, а яхсу уже пришли. Может, потому, что осень была холодная, духи гор проснулись раньше времени. Они увели Машти. Большого Машти, который одной рукой мог повалить на землю шмару, удержать плечом заваливающуюся стену дома, который каждую весну таскал камни и запружал ручей за деревней, чтобы дети могли купаться.

Вечером он ушел на Гору, а сейчас утро, и надо идти следом, возвращать тело Машти земле.

Куорт с кряхтением разогнул ноги, поднялся с циновки. Когда-то мог вскочить, не касаясь руками пола. Теперь приходится опираться. Болят старые кости, ноют плечи, но сменить его некому. Ушел старший сын, ушел младший. Весной надо взять в дом новую жену, так хочет старейший. Надо, иначе деревенские не будут носить ему еду, не будут носить сухую траву для его шмару. Куорт затушил очаг. Проковылял в угол, поднял с полу меховую куртку и варежки. На руки намотал еще полоски ткани, потому что варежки из меха снежного зайца прохудились и пропускали холод. Вытащил из-под вороха тряпок горшочек с жиром, смазал лицо и пошел наружу, где ждал его голодный шмару. Надо было взять с собой заступ, на случай, если тело примерзло, нож и веревки, чтобы навьючить Машти на широкую шмарову спину.

Солнце слепило глаза. Отражалось от снега, дробилось в слюдяных наплывах скал, белым сиянием окутывало Гору. Куорт поднимался уже четыре часа, тропа карабкалась вверх, а тела все не было. Видно, Машти успел уйти далеко, прежде чем яхсу его нашли. Машти был силен и молод, а Куорт стар, и шмару его стар, оба задыхались, но продолжали свой путь. Так высоко Куорт не забирался еще ни разу. Голова кружилось, холодный воздух резал грудь, иголками впивался в лицо, и даже жир не спасал. Глаза старика слезились, сквозь смерзшиеся ресницы мир казался одним слепящим пятном. Поэтому Куорт не сразу заметил зверя. Сначала увидел темное на белом, то был труп замерзшего Машти. Старик вздохнул с облегчением. Надо было оторвать негнущееся тело от ледяной корки, завернуть в мешок из раги и отвезти вниз - работа тяжелая, но привычная. Куорт смахнул иней с ресниц и поспешил по снегу, волоча за собой упирающегося шмару. Только шагах в двадцати от трупа он заметил движение. Что-то

ворочалось рядом с головой Машти, что-то большое и белое. Низко урча, оно теребило капюшон Маштиной куртки. Услышав шаги Куорта, зверь поднял голову. Маленькие глазки скрывались в шерсти. Широкая пасть была окаймлена красным, и красное казалось темным на фоне снежного меха. Мех неопрятно слипся там, где его запятнала кровь. Острые зубы могли расти в три ряда, а могли и в пять - старик не видел оттуда, где он остановился. Зверь напоминал енота-рыбоеда из долины, но был раза в три крупнее. Широкие лапы с тупыми когтями легко удерживали его на снегу. Одна лапа лежала на груди Машти.

Куорт замер. Сзади жалобно замычал шмару, потянул за повод. Белый его напугал. Сам Куорт страха не чувствовал. Он просто стоял и смотрел, как зверь убирает когти с Маштиной груди. Белый неуверенно повел башкой, принялся. Шмару закричал и отчаянно рванул повод. Услышав крик, зверь повернулся к Куорту. Старик задержал дыхание, замер и напуганный до смерти шмару. Зверь, казалось, вновь потерял их, замотал башкой, и тогда Куорт понял, что белая тварь почти слепа. Старик дернул за повод. Колокольчики, привязанные к кожаной уздечке, тихо звякнули. Белый пригнулся и уверенно поспешил к добыче, заскользил по снегу испятнанным кровью брюхом. Когда зверь был в десяти шагах, старик потянулся к вьюку и нащупал рукоятку заступа. Куорт умел считать и считал шаги зверя, и, когда осталось два шага, прыгнул в сторону и поднял заступ над головой.

Солнце садилось за Гору, когда старик и его шмару показали на тропе, ведущей вниз. Вся деревня собралась у тропы. Никогда еще Куорт не возвращался так поздно, и никогда его груз не был завернут в белую шкуру, похожую на шкуру снежного зайца, но во много раз больше. Гора отбрасывала на тропу длинную тень, а снег на крышах окрасился в розовый.

Куорт провел шмару между двумя рядами молчаливых зрителей. Где-то за широкими спинами мужчин всхлипывала Кунца, жена Машти. Всклипывала, прижимала к подолу платья черноволосые головки детей. Негоже им видеть мертвого отца. Однако, разглядев шкуру, и Кунца умолкла. Стояла, молчала, а Куорт подвел шмару прямо к ней. Теплое дыхание животного поднималось вверх двумя струйками пара, а на тощих боках застыла темная корка. Младший сын Машти, Аити, потянулся к белому меху. Мать шлепнула его по руке.

Губы Куорта дернулись. Только через секунду женщина поняла, что старик улыбается.

- Не бойся, Аити. Следующей зимой твой отец убьет ямба и принесет тебе такую же.

Мальчик попятился, спрятался за материнской юбкой. Кунца задыхнулась, прижала руки к груди.

Старик отвязал сверток, бережно спустил его со спины шмару. Развернул шкуру. Внутри был Машти. Окровавленный, с лицом белым от мороза, он все же дышал.

- Возьми своего мужа, женщина. Натри его тело жиром, растирай снегом, только не клади близко к очагу, чтобы мясо не слезло с костей. К весне он будет здоров.

Так сказал Куорт, а потом скатал шкуру ямба, взял шмару за повод и повел к своему дому, и никто не заступил ему дорогу. У порога он свалил шкуру, и - стоящие ближе могли поклясться - вытер ноги о белый мех. А заглянувшие в окна видели, как старик развел огонь в очаге, наполнил водой котелок и уселся на циновку. Он снял сабо и поставил рядом с другими - узкими, отполированными до желтизны, и темными, маленькими.

## ПРИДЕТ СЕРЕНЬКИЙ ВОЛЧОК

Анна Мария Патриция Мэй шла из школы домой. На подъездной дорожке ее ожидал урод. У уroda были тонкие пепельные губы, и глаза прятались под морщинистыми веками. У урода были грязные ботинки и дырявые брюки. Еще у урода была детская погремушка, которой он непрерывно брэнчал.

- Пода-айте!

Анна Мария Патриция Мэй (для простоты я буду звать ее Анной) брезгливо обошла урода. Ей не нравились грязные ботинки. У нее самой ботинки всегда были начищены до блеска. Правда, чистила их служанка Марта, но это было неважно. Дело в принципе.

- Пода-айте!

Анна брезгливо обошла урода и распахнула калитку. Папа сегодня не заехал за ней, и она намеревалась дать ему хорошую взбучку. Закатить скандал - так, кажется, это называется у взрослых. Когда Анна ступила на крыльцо, сзади к ней подкрался усик душистого горошка и пощекотал за лодыжку. Девочка досадливо оттолкнула горошек и вошла в дом.

Мама сидела в кресле в гостиной и крепилась. Анна сразу поняла, что мама крепится, потому что та сжимала платок. Изредка она подносила платок к глазам. Глаза у мамы были красные, а ресницы слипшиеся и мокрые.

Анна бросила сумку на пол и спросила:

- Ма, ужин готов? Я ужасно проголодалась.

И повторила, с удовольствием растягивая слово, как тетя Бет:

- Ужа-а-асно.

Мама промокнула глаза и вскочила.

- Конечно, деточка. Все готово. Мой руки и садись за стол.

Анна удовлетворенно улыбнулась и пошла в ванную. Ей нравилось, что у нее такая послушная мама.

Из окна ванной открывался вид на подъездную дорожку, и - вот незадача - урод был все еще там. Он звенел погремушкой и голосил:

- Пода-айте!

Заметив Анну в окне, он перескочил калитку, пробежал через сад и прижался к стеклу лицом. Губы у него вывернулись, а черные глаза засверкали, как у волка.

- Фи, - сказала Анна, - как невоспитанно.

Она аккуратно промокнула руки полотенцем и направилась в столовую. А урод все так и стоял, прижавшись лицом к стеклу.

Служанка Марта принесла суп в большой фаянсовой супнице. Мама уже сидела на стуле и крепилась. Платок стал совсем мокрым и напоминал тряпочку.

- Мама, - сказала Анна, - а как же папа и тетя Бет? Разве они не придут?

Тут мама перестала крепиться, вскочила со стула и убежала наверх, в спальню. Платок она уронила на пол и даже, кажется, наступила на него.

Анна помешала суп в тарелке. Есть ей уже не хотелось. Она встала из-за стола, аккуратно расправила юбку и решила пойти погулять. Стояла дивная погода. Ди-ивная. Если верить тете Бет. На самом деле небо хмурилось, и над садом неслись облака, убегая к морю. Анна распахнула стеклянную дверь, ведущую в сад, и подставила ветру лицо. Прическа мгновенно растрепалась, но это было не-су-ществ-вен-но. Анна шмыгнула носом. До этого она никогда не шмыгала носом. Неприлично, как сказала бы тетя Бет. Но тети Бет не было больше, и Анна снова шмыгнула носом - просто чтобы убедиться, в самом ли деле это так приятно. Это было приятно. Анна соскочила с крыльца, подмигнула душистому горошку и побежала к калитке.

У калитки поджидал урод.

- Девочка, - проныл он, - девочка-девочка, дай пять центов. А я тебе сказку расскажу.

У Анны был неожиданный день. Ей так понравилось шмыгать носом и быть вежливой с душистым горошком, что она решила быть вежливой и со всеми остальными, даже если они и уроды.

- Вы маори? - спросила она. - Мы проходили маори в школе. Учительница сказала, что мы вас угнетали, и поэтому вы вымерли. Скажите, это очень больно - вымирать?

Маори, кажется, удивился. Он склонил клочковатую голову к плечу и брякнул погремушкой. Погремушка ответила нежно и жалобно.

- Пошли к маяку, - сказала погремушка.

И они пошли к маяку. Маяк стоял на скале, и ветер тут был такой, что Анне пришлось изо всех сил прижимать к ногам свою клетчатую юбку, чтобы она не раздувалась колоколом. Это было неприлично. Неприлично. Анна подумала и отпустила юбку, и стала похожа на красный, растущий из скалы цветок. Под ногами бурлило море, кидалось на скалы и кусало их, но никак не могло откусить достаточно.

- Много лет назад, - сказала погремушка, - здесь жил один народ. Женщины варили желтые клубни и пряли пряжу, а мужчины охотились. Полгода они были вместе, но осенью мужчины превращались в больших серых птиц и улетали в далекие края. Никто не знает, куда. Все зиму женщины жили одни, а весной разжигали маяк на скале, чтобы мужчины-птицы смогли найти дорогу обратно. Но однажды зимой с материка приплыли длинные лодки. Сидящие в них схватили женщин и увезли с собой, а тех, кто не захотел уплывать - убили. И некому стало разжигать маяк на скале. Мужчины-птицы не сумели найти обратный путь. Часть из них разбилась о камни и утонула в море, а часть улетела. Но каждую весну они возвращаются сюда, в самую длинную весеннюю ночь, и кружат, и кружат над волнами, и кричат, надеясь увидеть свет маяка. Ну как, хорошая сказка?

Анна захлопала в ладоши, и ветер захлопал ее юбкой. Анне очень хотелось подарить погремушке пять центов, но у нее был только доллар. А ведь доллар и пять центов - это совсем не одно и то же.

Дома мама не крепилась. Мама бегала из угла в угол с черной телефонной трубкой. Черная трубка, как птица, сидела на мамином плече, и говорила голосом тети Бет:

- Ну, не расстраивайся, дорогуша. Все будет о-ке-ей.

Мама топтала платок. Анна пошла в свою комнату и села у окна, положив локти на стол. Учительница задала проспрягать два глагола, но Анна не могла этого сделать, потому что глаголы были тоже очень похожи на черных птиц. Они расселись на ветках персикового дерева и кричали: "Карр-карр". Анна подумала, не начать ли ей крепиться вместо мамы, но вместо этого достала краски и нарисовала электрического угря. Служанка Марта позвала ужинать. Когда Анна спустилась в столовую, мамы не было дома. Наверное, она ушла в церковь. После того, как переставали крепиться, всегда ходили в церковь и пели что-то очень жалобное и протя-яжное.

Ночью ветер стучал в окно, как большая черная птица. Он бил и бил крепким клювом, будто хотел разбить стекло. Для ветра Анна была лакомым орешком, и скорлупа дома не могла его надолго остановить. Анна решила, что не хочет быть выковырянной из скорлупы насильно, и открыла окно.

- У-У, - завопил ветер, и бросил в лицо Анне пригоршню соленых брызг.

Анна облизнула губы и довольно улыбнулась. Она знала, что делать.

Канистру с бензином Анна взяла в гараже. Папина машина стояла там, как большой доисторический ящер. Это было грустное зрелище, потому что доисторические ящеры давно вымерли. Анна лишь понадеялась, что им не больно было вымирать. Тащить канистру было вовсе не тяжело, только уже в конце пути, на искрошившейся маячной лестнице, Анна подвернула ногу. Она села на ступеньку и поразмыслила, не стоит ли заплакать. Ей было очень жаль новеньких красных гольфов, которые мама только позавчера купила в супермаркете.

На верхней площадке ветер наконец-то добрался до Анны и клюнул так, что из глаз брызнули слезы. Она отвинтила крышечку канистры и вспомнила, что забыла взять спички.

- Добрый боженька, - прошептала Анна, сложив руки перед грудью, - дай мне, пожалуйста, коробку спичек.

Она закрыла глаза и сунула руку в карман. Спички нашлись. Если вежливо попросить, тебе никогда не откажут.

Анна сложила очень красивый костер, совершенно такой же, как их учили складывать в летнем лагере. Правда, дров у нее не нашлось, поэтому вместо них Анна положила в костер папу, и маму, и тетю Бет, и служанку Марту, и урода-маори с говорящей погремушкой, и даже душистый горошек с подъездной дорожки. На самый верх костра (ведь это самое важное, что у костра наверху) Анна поставила себя, очень тщательно облила все бензином и чиркнула спичкой. Сквозь рокот пламени она еще успела услышать летящий над маяком птичий крик и прошептала, в точности как тетя Бет:

- Все будет о-ке-ей.

2006

## **ЖИВАЯ ГРЯЗЬ**

*"У папы в сарае было темно, поэтому я зажог свет. А потом я налил ф таз воды. А потом я взял грязь..."*

- Юки! Опять ты берешь папину глину без спроса!

Новая порция кувшинов удалась на славу. Глянцевые бока блестели на солнце, кувшины кланялись покупателю и сами себя вразнобой хваливали:

- Храните масло только в кувшинах Юкота! Через полгода будет как свежее, даже в катанской жаре!

- А вот кувшин для вина, кому кувшин для вина? Ах, сладкое вино, вкусное вино, вах - голова кружится!

- Сливки, сливки! Свежие сливки! Кому кофе со сливками?

Самый маленький кувшинчик подпрыгивал и искательно верещал:

- Благородный Полеса, купите меня в подарок вашей дочери! Я буду хранить ее бусики, по ягоды с ней ходить буду. Купите, а?

Благородный Полеса покачал круглой башкой, протянул неуверенно:

- Голосистые они у тебя больно, Юкот. Мне б чего попроще.

Горшечник фыркнул.

- За простыми на Глеб поезжай, господин мой. Или на Мариц. Здесь, на Тхукане, лучше моих кувшинов не найдешь.

Они и вправду были хороши. Круглобокие, расписанные цветами, или просто красные, в цвет породившей их глины. Кувшины стояли на столе, под столом, несколько кувшинов играли в догонялки в саду, перепрыгивая через цветущие кусты юкоса. В честь

этих алых зарослей и усадьба была названа, и семья потомственных горшечников, пустившая здесь корни два века назад, взяла то же имя.

Маленькая Юката катала в саду мяч. Здоровенный пифос, пока не приглянувшийся никому из покупателей, услужливо отыскивал мяч всякий раз, когда девочка загоняла его в заросли. Жена Юкота и две ее сестры месили глину за домом. Глина что-то бурчала, а временами заливалась визгливым смехом - ей было щекотно. Мать горшечника готовила обед в пристройке. Горшок с кашей нетерпеливо подпрыгивал в очаге, покрикивая: "Хозяйка! Хозяйка, я выкипаю! Убавь огня!"

Благородный Полеса вытер пот с лысины, тряхнул головой еще раз и воскликнул:  
- Эхма! По рукам, мастер, беру всё!

*"Я сначала слипил голову, а галава мне язык показала. Патом я слипил ноги, и они хатели убежать, но я их дагнал. Я хател, штобы он был на миня похожий, тогда я буду с ним дружить, но он не хател."*

- Юки, горе ты луковое! Что ж ты сотворил! Сколько раз тебе говорили - нельзя людей лепить.

- Ну я же совсем маленького!

- И маленьких нельзя.

Юкот-мастер огорченно глядел на фигурку, которую сынишка вертел в руках. На человека корявый уродец походил меньше всего. Во-первых, у него было всего две руки. Видно, надоело Юки катать колбаски из глины, вот и получилось - две руки, две ноги. Стоять урод мог с трудом и все время падал. Глина трескалась, скоро совсем раскрошится.

- Ну папа, - заныл Юки, - Ну положи его в печку с горшочками! Он же совсем-совсем маленький и некрепкий, а я не хочу, чтобы он умер.

Юкот вздохнул. Ну как откажешь? Сам в детстве баловался, правда, ему хватало ума не показывать поделки отцу. А Юки глупый уродился, в десять лет едва говорить научился, в двадцать пошел, а пишет до сих пор с ошибками. Куда ему мастером быть! Да жалко, свой ведь, не чужой. Горшечник вздохнул и взял глиняного уродца из рук сына. Уродец немедленно открыл пасть и впился Юкоту в палец мелкими тупыми зубами.

Беды начались на второй же день после обжига. Для начала окрепшее чучелко выело весь запас яблок из подвала, а потом пошло обирать ягоды на кустах. Аппетит у него оказался немеряный, и рос малыш не по дням, а по часам. Юки пробовал кормить его глиняными обедами, но уродец отплевывался и требовал каши. Вся кухонная посуда карлика возненавидела. Горшок обварил его кипятком, супница плюнула супом. Юкот втайне надеялся, что урод утихомирится, и жизнь в доме наладится.

Надежде его суждено было развеяться той же ночью. Вся семья проснулась от жуткого звона и грохота на кухне. Жалобные вопли посуды заглушал торжествующий смех уродца. Когда Юкот ворвался в пристройку, все было кончено. Знаменитые небьющиеся горшки и миски осколками рассыпались по полу. Супница, забившаяся за буфет, жалобно поскуливала. Глиняное чучело расколело ее крышку.

Юкот был вне себя от ярости. Только к утру успокоил он выжившую посуду. Супница потребовала новую крышку, да не простую, а с лепным петушком. Горшечник обещал ей петушка. Между тем жена Юкота, снохи и теща разыскивали уродца. Обнаружился он в подвале. Маленький негодяй разбил амфору с лучшим катанским вином пятилетней выдержки, которую Юкот хранил для семейных праздников. Урод напился вдрызг. Когда его обнаружили, он бродил по подвалу, волоча за хвост Юкатиного любимца - говорящего змееныша. Змееныш горько плакал. Уродец пел гимн собственного сочинения, и вместо припева шлепал животиной об стену.

После завтрака, довольно скудного - уцелевшая посуда еще не оправилась от потрясения, и смогла изготовить только недоваренную просяную похлебку, да и тарелок

на всех не хватило - семья собралась на совет. Понурый Юки стоял перед столом. На столе храпел пьяный уродец.

- Надо уничтожить это, это... - Юкот не находил слов. - Эту непристойность.

Юки захныкал. Юкотова жена, всегда потакавшая неудавшемуся сынишке, присела рядом с ним, обняла, подняла заплаканные глаза на мужа.

- Мальчик не хотел. Милый, это же его первая поделка. Не будь таким жестоким. Может, нам удастся воспитать это...

- Не в моем доме! - мастер был непреклонен, - Если Юки так дорога эта вещь, пусть он убирается вместе с ней.

Мальш зарыдал в голос. Горшечник вздохнул. Какое-никакое чадо, а никуда от его не денешься. К тому же Юки не был злым. Просто руки, что первая пара, что вторая, росли у него не из того места. Не из шеи они росли, а много ниже.

- Ладно, не плачь. Не буду я разбивать твою игрушку. Мы ее просто... отправим путешествовать.

Завтра как раз должен был прийти мусорщик, забрать старый хлам. Юкот помнил, что когда-то его дядюшка, тоже семейное позорище не из последних, слепил пару хвостатых, зубастых уродцев, которые передушили всех кур. Уродцев он назвал какими-то заврами и ни за что не хотел с ними расставаться. Тогда бабушка тайком ночью вынесла монстров к мусорщику, и тех благополучно увезли на свалку. Как бишь та планета называется? Глина? Грязь? Странно, такое дельное имя, и такая мерзкая планета. Надо бы и этого туда же сплавить.

- Отправим погулять, говорю, - продолжил Юкот, настроение которого стремительно улучшалось, - Повидать мир.

- А-а! - выл Юки, - Ему одному страшно будет! У-у!

Жена Юкота нахмурилась, выразительно глянула на мужа.

- Хорошо-хорошо, - поспешно добавил тот, - Ты слепи ему пока товарища. Вечером я его обожгу, а утром и отправим.

Мастера дернули сзади за рукав. Он обернулся.

- Папа, - черные глазенки Юкаты горели азартом, - папа, а если мы их все равно оставлять не будем... Можно, я Юки помогу?

Горшечник вздохнул.

- Юки, Юки, а как мы их назовем?

- Ну... а их обязательно надо назвать?

- У всех есть имена, глупый.

- Давай Юки и Юкатой?

- Нельзя, нас уже так зовут.

- Ладно, тогда давай просто - "живая грязь"<sup>1</sup>.

2005

---

<sup>1</sup> Адама - "земля", "грязь". От этого слова произошло имя "Адам".  
Ева (Хава) - "живая" (примерный перевод с иврита)

**АНДРЕЙ**  
**(рукопись, найденная в бутылке)**

*...видишь там на горе возвышается крест*

*под ним десяток солдат. Повиси-ка на нем...*

*В. Бутусов - И. Кормильцев "Прогулки по воде"*

**И. Кормильцеву**

Дико ныл зуб. Я сидел, подперев рукой распухшую щеку, и выводил на листке почтовой бумаги: "Любезная Марфа Васильевна! Ввиду отключения электричества в нашем доме жилсовет просит Вас перевести сто рублей, необходимые для починки сети, на..." Красноватый свет керосиновой лампы резал глаза. Внизу, под окном, заливался волколак. Он выл уже вторую ночь подряд. Соседи говорили, что зверь сбежал из шапито, приехавшего в город на прошлой неделе. Мне было плевать, откуда взялась тварь, я только мечтал о том, чтобы она заткнулась. Фонари не светили, в окно заглядывала чародейка-луна. Как ни странно, она была на ущербе. С чего бы оборотню так выть?

"Любезная Марфа Васильевна..." Зверь за окном заорал в голос. Рука дрогнула, большая черная капля сорвалась с пера и размазалась по листу. Я выругался, смял листок в руке и швырнул под стол, к десятку таких же бумажных комков. Черт! Опять придется переписывать. Когда я потянулся к папке, велосипедный звонок, прибитый к двери снаружи, неуверенно брякнул. Потом в дверь ударили ногой. От удара она, естественно, распахнулась. У нас в подъезде никто не запирает дверей. Темная фигура ввалилась в прихожую, и по ореолу вокруг лица я узнал Родьку Раскольниково, своего однокурсника. Тот недавно прикончил какую-то старуху и теперь щеголял в ее шубе из чернобурки. Шуба была ему мала, открывала пузырящиеся на коленях брюки и голые синие лодыжки, зато воротник был знатный - пушистый, украшенный ощерившейся лисьей мордой, он сыпал мелкими искорками в свете лампы и создавал подобие нимба вокруг прыщавого Родькиного лица.

- Опять света нет, - пожаловался Родька и плюхнулся в кресло. Поднялось облачко пыли.

- Шубу пожалей, - заметил я. Кресло я не пылесосил уже больше недели, ведь пылесос тоже работал от розетки.

- Темно у вас, - Родька будто и не слышал. - В подъезде на кошку наступил, та как мявкнет - и вверх прыснула, чуть по лицу мне когтями не прошлась.

Родька славился на курсе как заядлый выдумщик. Врал он по поводу и без повода, вот как сейчас - волколак уже давно пожрал всех кошек в округе.

- Чего притащился?

Я сознавал, что нелюбезен, но мне надо было закончить наконец это гребаное письмо.

- Вот.

Родька принялся выпутываться из шубы. Наконец он стряхнул ее с плеч и бросил на спинку кресла. Под шубой обнаружился самодельный тканый пояс, чем-то плотно набитый. А под поясом - голое и тощее Родькино брюхо. Оно было еще и грязным. Горячую воду в городе отключили за неделю до того, как вырубил свет.

- Шубу тебе оставить хочу. Шуба хорошая, теплая. Зима скоро.

- А ты?

Родька вздохнул.

- Я? Я пойду, троллейбус, что ли, взорву. Четверку.

Я покосился на пояс. Раскольников кивнул.

- Ага. Антон обещал - рванет так, что и пуговиц не соберут.

- Чего это ты?

Родион поморщился, поскреб пятерней грудь.

- Встретил недавно одну сучку, она меня сифилисом заразила. Все равно подыхать. Аптеки закрыты. У меня уже и горло болеть начало, говорить трудно. Во, смотри.

Родька вылез из кресла и нагнулся надо мной, распахнув пасть. Из пасти несло мертвечиной. Пасть была бездонна, покрыта белым налетом, в глубине черна. Вела она, похоже, в преисподнюю. Я отшатнулся.

- Во-во. Я и говорю - запашок. И сыпь такая, все чешется.

Сыпь и вправду была знатная, куда до нее обычным Родькиным фурункулам. Раскольников поежился - из окна тянуло холодком.

- Так ты шубу носи. Антону привет передавай.

Сказал и пошел вон, только свисавшие с тощих ягодиц штаны хлопнули на сквозняке. Я проследил за тем, чтобы он закрыл дверь, а потом вернулся к столу. Вытащил из папки чистый лист, взялся за перо и вывел: "Любезная Марфа..." Окно грохнуло и распахнулось, ворвавшийся ветер чуть не затушил лампу. Я обернулся. У порога стояла Лерка. Лерка, Лерунька, солнышко мое черноглазое. Я выскочил из-за стола и принял ее в черную шубу. Завернул, закутал всю, поднял на руки и прижал милый сверток к груди. Лерка счастливо засмеялась. Она всегда мерзла. От волос ее, как и обычно, чуть-чуть тянуло землей. Я покругил Леруньку по комнате, поцеловал в нос и пошел ставить чайник. Газ пока работал.

[...] пили чай на кухне. Лерка из своей обычной, синей выщербленной чашки. Я из большой желтой с ободком. В основном я, конечно, не пил, а пялился на Лерку - такая она была красивая. Лерка делилась новостями.

- Сторож сегодня опять ругался. Говорит, мы выкапываемся, а ему полдня потом зарывать. Галку вообще пускать не хотел, но она как-то извернулась.

Я сидел и думал - почему во всем этом гребаном мире только мертвые красивы и добры?

С Леркой мы познакомились на кладбище. Все наше жилтоварищество отправили на субботник, закапывать могилы. Милиция гоняла по кладбищу девчонок, те визжали, менты матерились. А Лерка спокойно сидела на плите и лузгала семечки. Когда я, удивленный донельзя, подошел ближе, она мне заговорщицки подмигнула. А потом взяла из моих рук лопату и принялась закапывать собственную могилу. Лерка у нас была девочка аккуратная.

Вурдалак за окном захлебнулся воем. Лерка поежилась.

- Давно он так?

- Да дня два.

- Вы ему поесть давали?

Я покачал головой. Магазины были уже три дня как закрыты, в неработающем холодильнике оттаяла забытая с прошлого месяца сосиска. Хорошо, что моя подружка не слишком нуждалась в еде.

- Покормите, жалко ведь.

Я не стал возражать. Просто потянулся через стол и дотронулся до присыпанных землей темных волос. Мы не раз чесали их вместе перед зеркалом, но комочки земли все равно оставались. И в трусах ее, как обычно, были мелкие камушки.

Уходя, Лерка сказала:

- Я, может, не приду.

- Завтра?

Она замаялась. Потом глянула на меня сверху вниз, звереныш мой:

- Вообще. Старое кладбище переносят. Там будут строить новый завод для сжигания мусора. Так сегодня сторож Галке сказал. Может, он просто со зла брякнул. Но ты на всякий случай меня не жди.

Я отдал ей Родькину чернобурку. В земле, наверное, еще холодней, чем здесь.

"Любезная Марфа Васильевна! Ввиду отключения..." За окном заорали. Это был человеческий крик, так что я поднялся и выглянул наружу. Во дворе толпился гурт новичков. Сержант - иногда он шеголял в форме римского легионера, но сейчас ограничился хаки и фуражкой - бил по морде светловолосого паренька. Вопил, однако, не паренек, а Иудушка Головлев. Белый, оплывший, как утопленник, с раздувшейся синюшной шеей и выпученными зенками, он подпрыгивал на куче мусора и орал:

- Ы-ы! Ы-ы!

Иудушка трижды пытался повеситься, и трижды крюк не выдерживал его тяжести. На четвертый раз он нашел где-то осину, но ствол оказался подпиленным. Этот случай сломил его окончательно, и он тронулся. Сейчас каждый раз, когда пригоняли новичков, он приплясывал на своей куче и вопил что-то невнятное. Сержант, не обращая внимания на безумца, повалил новичка на землю и принялся бить ногами. Остальные новенькие сбились тесной группкой и обреченно следили за избиением.

Я глянул на свои руки. Стигматы почти зажили. Кровоточили они только в пасхальное новолуние, да и то не всегда. Я прикрыл плотнее окно, чтобы не слышать Иудушкиных воплей, и вернулся к письму.

"Любезная Ма..." А, к черту! Все равно соседка-неплательщица жила напротив, на той же площадке. Я скомкал листок, накинул на плечи пальто и вышел за дверь. За дверью была тьма египетская. Я поежился. Всего-то и надо - пересечь площадку, пять коротких шагов, и постучаться к соседке. Но отходить от собственного порога не хотелось. Тут некстати припомнилась и Родькина кошка - вдруг она притаилась где-то тут, в темноте? Выпустила когти и ждет. Далеко внизу, за железной дверью подъезда, за мокрыми осенними кустами боярышника заливался вурдалак.

[...] на кресте. Обнаружившие его археологи датировали находку 33 годом н.э. Торчал крест на холме, в двух верстах от Иерусалима, и был как новенький - хоть возьми и вешайся на него. Помню гладкое дерево, будто отшкуренное, отполированное - так много людей прикасалось к нему до меня. Подножие было темно от пролитой крови, а перекрестье натерто до блеска мучительно напряженными спинами. Кто бы сказал, что повисев три дня на этой деревяшке, обретешь бессмертие. Кто бы поверил...И кто бы предупредил, что все эти три дня надо любить мир любовью чистой и искренней. Интересно, хоть кому-нибудь это удалось?

В первый день думаешь только о том, как дышать. На второй начинаешь ненавидеть небо над головой, траву внизу, солдат охраны и особенно - этих японских туристов с камерами. Глаза, ослепшие от вспышек, перестают видеть солнце. На третий день попадаешь сюда. Уже бессмертным.

[...] Дверь была, конечно, открыта. В прихожей - хоть глаз выколи, но с кухни сочился слабый свет. Воняло кошками. Я протиснулся мимо громоздкой вешалки - та не замедлила оцарапать меня блудным гвоздем - и оказался на кухне. Над раковиной горело несколько черных свечей. Старуха рубила мясо. Она махала огромным тесаком. Тесак с хрустом врубался в кость и мякоть, сея вокруг кровавые брызги. Тетка обернулась на звук моих шагов, шамкнула беззубым ртом.

- Марфа Васильевна, вот...

Я протянул ей счет из ЖеКа. Соседка вытерла руки передником, прошаркала ко мне и взяла бумажку. От женщины пахло кровью и старостью. Она прищурилась, зашарила в кармане передника - видно, искала очки. Я сказал:

- Ввиду отключения электричества в нашем доме жилсовет просит Вас перевести сто рублей, необходимые для починки сети, на следующий счет.

Номер счета был записан на другой бумажке, и я только сейчас сообразил, что забыл взять ее со стола. Старуха хмыкнула и вернула мне предписание.

- Милый, какие сто рублей, какая сеть? В городе две недели нет света.

Я глянул в окно. В соседних домах огни не горели.

[...] Он был ростом с крупную собаку, но морда у него была более вытянутой, чуть ли не крысиной. От мокрой шерсти ощутимо тянуло псиной. Волколак сидел на задних лапах за кустом, и хвост его мелко подрагивал. Я подошел ближе.

- Хорошая собачка. На.

Я закатал рукав и протянул ему руку. Пусть зверь укусит меня. Пусть хотя бы на несколько блаженных дней полнолуния я забуду обо всем, и останутся во мне только животная ярость и животный голод. Пусть... Волколак развернулся и затрусил по дорожке. Я взвыл от отчаяния и вцепился ему в хвост. Зверь дернул, рванул, но я держал крепко. Мы покатались по мокрой траве, я обхватил волколака руками, прижался к нему, как к брату. Зверь захрипел. Вонючая пасть открылась, и клыки разорвали кожу на моем запястье.

Я замотал руку носовым платком. Авось, заживет к следующему полнолунию, а то мне не дадут поохотиться. Пошатываясь, я вышел из кустов и направился к дальнему пожарищу. Над деревьями стоял оранжевый свет. Возможно, это догорал четвертый троллейбус, взорванный Родькой. На пути попалась глубокая лужа. Я ступил на воду. Пленка молекул, сцепленных силами водородных связей, прогнулась, но держала. Я шагал по воде и глядел на гаснущее там, впереди, пламя. У края лужи под ногами треснуло. Это был первый осенний ледок.

2005

## ТИБУЛ

Ненависть омывала его, как светлый кокаиновый драйв, когда легко и уже совсем не больно. Больно. Можешь разорвать меня на части, сообщил он бультерьеру, который как раз и собирался это проделать. Заглянув в глаза присевшему на корточки человеку, собака приложила все возможные усилия, чтобы поджать обрубок хвоста. Когда это ей не удалось, скотина взвыла и полезла в подпол. Она протискивала и протискивала длинное тело в куриный лаз, отчаянно работая ляжками.

- Как же я вас всех ненавижу, суки подлючие, - ласково сказал человек, вытащил из кармана Макаров и разрядил всю обойму в дергающуюся собачью задницу.

Человека звали Гимнаст Тибул, и нынче вечером он как раз собирался прогуляться по канату.

«Прогулка по канату смахивает на прогулку по доске, с одной разницей - падать, как правило, чуть дольше, а приземляться чуть больнее.

«Свиньи и ублюдки», - так обычно думал Тибул, глядя на толпу внизу. Макушки волосатые и лысые, макушки в шляпах и в платках, лица, задранные кверху так старательно, что даже со своей высоты Тибул различал черные дула ноздрей.

«Чтобы вам всем сдохнуть», – думал Тибул, ступая на дрожащую струну. Таракан на гитаре, вот кем он себя представлял. На электрогитаре, добавлял он к середине каната, и волоски на затылке невольно дыбились в предчувствии того, как чья-то злонамеренная рука врубит ток в шесть тысяч вольт. Из окон скалились молоденькие горожанки, и улыбки их казались белыми таблетками яда в тараканьей ловушке.

Вечером он пробирался к себе на чердак, в тараканью каморку. Мыши разбегались, услышав его шаги. Били по крыше ветки старого каштана. На кровати Тибула ждала Суок. Мыши слегка погрызли ее щеки, но чудесные длинные ресницы уцелели, и так же безмятежно глупы были кукольные глаза. Тибул падал на колени, зарывался лицом в шуршащие муслином юбки и выдыхал всю грязь длинного дня.

– Суок, – говорил он, и кукла благословенно молчала. – Суок, боже мой, Суок.

Потом голос переходил в стон. Кукла продолжала молчать, и только тряслась старая раскладушка и дребезжали часы на полке. Трещал за мотками изоляции сверчок, потерявший своего Буратино. Время выходило на новый круг, звезды теснили другие звезды с орбиты. Никому не было дела до Тибула с Суок в их каморке, никому, решительно никому.

Странно тихи на границе дня и ночи дома. Они умеют петь, но не умеют говорить, они умеют молчать, но не умеют спрашивать. В каждом доме есть своя крыса Шушара, свой Яго с платочком, своя тараканья ловушка со сладким ядом. Ловушка Тибула была в пупке Суок. Казалось, для чего бы кукле пупок и какая из него могла выходить пуповина? Куда тянулась эта пуповина, уж не в высоковольтную ли розетку, где шесть тысяч ждут заветного часа? Лаская нитрополипиреновые кудри Суок, Тибул иногда размышлял об этом, но никогда не задумывался надолго. Думать вообще было не в его привычке.

Утром звенел будильник. В раковине стояла ржавая вода, внизу ссорились соседи, отправляя сына в школу – а что сын уже 15 лет как сгинул на чьей-то чужой войне, они так и не успели заметить. На стене в рамочке висела пожелтевшая страница, сочинение третьеклассника «Мой город».

«Я ненавижу мой город, – писал малыш. – Я хочу, чтобы на него упала ядерная бомба, прямо на папин гараж, когда папины пятки торчат из-под его чертова «Запора»».

Под сочинением стояла крупная красная отметка «отлично». Бомба упала на город пятнадцать лет назад, но, как ни странно, ничего не изменилось, только больше стало лысых – и толпа под Тибулом теперь напоминала то ли промышленный инкубатор, то ли булыжник после дождя»...

Дождя. Человек смял листок, вытащил собаку из дыры за заднюю ногу и принялся запикивать ей в пасть бумажный комок. Сжатые в последней судороге зубы все никак не хотели разжиматься.

«Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет!» – орал человек, разбрызгивая сапогами жидкий снег.

Но вернемся к Тибулу.

«Однажды вечером, вернувшись после представления, он не нашел в каморке Суок. Вместо нее на раскладушке лежала записка. «Встретимся полночь кладбище, целую, твоя Крыша». Крыша у Тибула была такая, что долго размышлять не приходилось.

Городское кладбище тянулось от горизонта до горизонта, длинные ряды братских могил. Крыша не оставила инструкций о точном месте встречи, но Тибул безошибочно вышел к могиле Буратино. 15 лет назад выходки деревяшки надоели папе Карло, и он убил сына – обтесал снова под полено, отрубив ручки, ножки и нос. Потом из полена столяр вырезал тельца, выкрасил золотой краской и принялся ему молиться, но и телец не принес удачи. Тогда папа Карло выкинул тельца на кладбище, и статуэтка лежала там среди зарослей ромашки и розмарина.

Крыша покуривала рядом со статуэткой – казалось, нервно.

– Где Суок? – спросил Тибул.

– Да не лезь ты со своей Суок, – раздраженно отмахнулась Крыша. – Не знаешь, что в городе творится? Беспорядки, смена власти и все такое. Три Толстяка заперлись в железном дворце и не желают предстать перед справедливым народным судом.

– Где Суок? – повторил Тибул.

– Будет тебе Суок. Взберешься по железной стене дворца. Под крышей есть небольшое оконце. Пролезешь в него и убьешь Трех Толстяков, а заодно и этого, как его, Маленького Принца Тутти.

– Хорошо, – сказал Тибул.

– Ты сделаешь это до завтрашнего утра.

– Хорошо, – сказал Тибул.

– В доказательство принесешь ровно в шесть утра сюда, на кладбище, уши толстяков и Маленького Принца.

– Хорошо, – сказал Тибул.

– Тогда получишь обратно свою Суок. И, может быть, мы даже назначим тебя героем-освободителем.

– А вот этого не надо, – сказал Тибул. – Пошли вы все в задницу. Верните мне только Суок.

Крыша расхохоталась.

Оружия у Тибула не было, и поэтому он зашел к соседям спросить, нет ли у них чего подходящего. Соседи стояли на пороге детской и переругивались.

– Ты буди его, – говорил муж.

– Нет, ты, – кричала жена.

– Он меня каждый раз пинает.

– Меня он почему-то не пинает.

– Ну так ты его и буди.

– Я его каждый раз бужу.

Тибул решил не мешать им. Он прошел на кухню и выбрал здоровенный мясницкий тесак.

Когда стемнело, Тибул вскарабкался по железной стене. Рукояткой тесака он вышиб ржавую решетку в окне и прыгнул в комнату. Ноги его немедленно утонули в чем-то упругом и мягком. Размахнувшись, он всадил нож в это мягкое. Врубаться было не тяжело, тяжелее вытаскивать лезвие – желтое сало с прожилками кровяных сосудов неохотно выпускало металл.

– Эни, – сказал, умирая, первый толстяк.

– Бени, – сказал второй.

– Раба, – сказал третий.

Тибул вытер нож о парчовую скатерть и уже собрался рубить толстякам уши, когда заметил блестящие из угла глаза. В углу сидел худенький мальчик и печально моргал. Должно быть, это и был Маленький Принц. Когда Тибул приблизился к нему, мальчик тихонько попросил:

– Не убивай меня.

Тибул занес тесак.

– У меня железное сердце, – вежливо предупредил мальчик, отступая к двери.

Когда Тибул опустил тесак, на месте мальчика уже скалился огромный волчище. Тесак все равно прорубил волчью спину, но, столкнувшись с сердцем, разлетелся вдребезги.

– Я же предупреждал – у меня железное сердце, – торжествующе взревел волк и вцепился Тибулу в горло»

[следующая часть текста повреждена собачьими клыками и слюной и нечитаема]

«...отрубил толстякам уши, похожие на баварские сосиски. Уши Маленького Принца отрубались намного тяжелее, и когда отрубались, оказались серыми, шерстистыми и холодными. На всякий случай Тибул отрубил еще и нос, и нос был холодный и мокрый, что говорит об отличном состоянии зверя.

Тибул спустился по железной стене и пошел к метро. Метро всегда открывалось в пять, но, когда Тибул подошел к станции, решетка была заперта на замок, и заспанный велосипедист сказал, что откроется не раньше девяти. Гимнаст тряхнул головой. Он шел по улице, и в руке его вместо узелка с ушами была бутылка пива. Он знал, что в этом чертовом городе распивать пиво на улицах запрещено, и спрятал бутылку за пазуху, но пиво стекало в штаны. Мочиться на улицах тоже было запрещено, поэтому он вытащил пиво и понес его дальше в руке. Когда Тибул вошел на станцию, его заметил дежурный и закричал: «Эй, со спиртным нельзя!»

– Это моя бутылка, я купил ее на свои деньги, – ответил Тибул.

– Все равно нельзя. Не положено.

– Я не буду его пить, буду просто держать в руке.

– Я сейчас полицию позову.

– Хорошо, – спокойно ответил Тибул. – Если ты не хочешь пропустить меня в метро с моей, честно оплаченной бутылкой пива, может быть, тебе понравится вытирать пол.

Он опрокинул бутылку. Пиво хлынуло рекой. Дежурный засвистел. Подбежали двое полицейских и потащили Тибула в участок. Там он долго ждал очереди. Наконец усталый пожилой офицер вызвал его в кабинет и принялся допрашивать:

– Ваше имя? Место проживания?

– Зовут меня Никак, – ответил Тибул. – И я живу Нигде.

Только через час ему разрешили сделать звонок, и он позвонил старому антрепренеру, и тот его послал, и тогда он позвонил Софии, и она его послала, и тогда он позвонил старым, давно забытым друзьям, и старые друзья приехали, и заплатили штраф, и забрали Тибула из участка. Было уже далеко за полдень, и на кладбище он опоздал.

Но, конечно, всего этого не случилось. В городе метро всегда открывается в пять, и туда разрешено проносить все что угодно, хоть целый рюкзак, набитый пластиковой взрывчаткой. Тибул вздремнул в полупустом вагоне и вышел на станции «Кладбище». Когда он подошел к могиле, Крыши не было, а вместо нее на статуе тельца сидел Сверчок.

– Принес? – поинтересовался он и изучил содержимое узелка. – Молодец. Герой! Недаром я столько у тебя жил...

– Где Суок?

– Тебе велели передать это, – ответил Сверчок и сунул Тибулу в руку приглашение на концерт. Приглашение было отпечатано на глянцевой бумаге и украшено по краям позолотой.

– Сказали, приятный сюрприз.

Когда Тибул добрался до концертного зала, народу там было не протолкнуться. Охранник на входе изучил приглашение и хмуро подмигнул Тибулу. Гимнаст поднырнул под бархатную портьеру и вошел в зал. Там, на сцене, освещенная тысячей тысяч прожекторов, стояла Суок. На ней было новое алое платье, и еще что-то в ней было новым, и лишь спустя несколько секунд Тибул понял – она была живой.

– Не правда ли, эксклюзивно? – шепнул вкрадчивый голос под ухом. – Добрый доктор Гаспар Арнери работал всю ночь. Не говорите потом, что город не желает отблагодарить своих героев.

Тибул с ужасом глядел на сцену. Суок не только ходила там, приплясывала, поводила бедрами, потоки воздуха не только задирали ее алую юбку до самой груди – нет, Суок еще и пела! Пела тонким пронзительным голоском, от которого Тибулу захотелось заткнуть уши и завывать. Это не была больше его Суок, его тихая, молчаливая, всевыслушивающая Суок, с волосами из нитрополипирена. Она стала совершенно чужой.

Гимнаст шагнул вперед. Увидев выражение его лица, охранник встепенулся и ринулся следом, вытаскивая на ходу пистолет. Он перехватил Тибула у самой сцены и принялся выкручивать гимнасту руку. Тогда Тибул другой рукой ударил охранника под подбородок, и сразу, по тому как хрустнул позвоночник и голова откинулась назад, стало понятно, что сломана шея. Тибул вырвал пистолет из мертвой руки и три раза выстрелил в Суок, а потом поднялся на сцену и выстрелил еще три раза»

Человек наконец-то разжал челюсти собаки и запихнул туда листки. Еще некоторое время среди поплывших чернильных пятен можно было различить имена «Тибул», «Суок», «Три Толстяка» и «Доктор Гаспар Арнери», а потом все размякло, утонуло и провалилось внутрь.

Человек с усилием вздернул белую собачью тушу за задние лапы и помахал ей перед домом:

– Эй! Эгей-гей! Я убил вашего пса! Как вам это нравится, хуесосы?

В первую секунду казалось, что дрогнула земля – но нет, это двинулся дом. Вот он отбросил ненужные стены, оставив только огромную Крышу. Крышу поддерживали тысячи маленьких куриных ног, а куриные черепа горой были свалены у помойной ямы.

– Апофеоз войны, – хмыкнул человек, пока Крыша, мелко семена ножками, надвигалась на него.

И когда та придвинулась совсем близко, он отшвырнул в сторону собачий труп и подхватил стоящую рядом канистру с бензином. Окотив гнилую солому и раз, и два, и три из канистры, человек полез в карман за зажигалкой – но успел ли он отщелкнуть серебряную крышечку и приласкать бензиновое озеро голубым огоньком, я понятия не имею.

2007

## МОНТРЕЗОР

Пока галка не клюнет, гром не грянет, мужик и не перекрестится. Ну, оно всегда так. Кто я, спрашиваете, такой? Я – начальник замкового стройбата. А зовут меня, скажем, Эмо. Не нравится? Да у нас у всех тут дурацкие имена. Кто не Юмо, тот Ирмо. А, может, Намо. Это хозяину кажется, что так благородней, а на самом деле, фигня получается. «Эй, как тебя там, Омо, козел ты эдакий, ты канаву роешь куда? Куда, спрашиваю, канаву роешь, мать твою растак? Сказано же – от меня и до самого горизонта! Два наряда тебе на кухне вне очереди». На кухню, впрочем, я мало кого посылаю. Очень уж там кухарка, Фроловна... У нее сиськи – во, жопа – во, а как готовит! Одно слово, золото, а не баба.

Кстати насчет золота. Болтают, что его в наших подвалах хоть лопатой греби. Врут. Это хозяин такую репутацию распространяет. Он мол, алхимик, у него мол, камень философский. Знаем мы этот камень. В почках мы такой камень видали.

Кто, говорите, хозяин? Ну как же, хозяйина нашего не знать! Правильно, Жидерец, а погоняло у него – Като. Это потому, что он кататоник гребаный. Идет, бывало, по подвалу с фонарем, хохочет зловеще, сам с собой беседует – это он так поясняет, что других достойных собеседников в замке нету – а потом вдруг на месте замрет. И стоит, час, два, совсем статуя. Потом отомрет и за книжку свою ухватится. Бежит, значит, по коридору, перед нишей какой остановится и орет: «Монтрезор, позвени колокольцами!». И стишок специальный из книжки зачтет. А из ниши, натурально, звенит. У нас этих монтрезоров по всему замку – как собак нерезаных, ей-ей. Было бы золота столько, как

этих монтезоров, я бы в стройбате не сидел. Я бы золото в шапку и тикать. Хотя от него, от Жидерца нашего, конечно, хрен смоешься. У него, понимаешь ли, коготь.

С утра продираю я глазыньки, ору побудку всей казарме. Нам сегодня ров от птичьих трупиков очищать. Уму непостижимо, как эти птицы дохнут, прямо эпидемия какая-то. Ну, раздал я своим молодцам лопаты, мешки, а сам волосы пригладил – нет, не приглаживаются никак, окаянные, так и стоят дыбом – ну тогда я повязку красную, шелковую на башку нацепил и на кухню – шашть. А там кофеем разит и плюшками свежеиспеченными, ох, мамочка моя, да с корицей! Фроловна у плиты майстрячит. Задницу свою, юбкой туго обтянутую, отставила, невзначай будто, будто шагов моих тяжелых командорских и не слышит. Ну я плюшку с блюда – цоп, к Фроловне – шашть, только примерился ее по заду хлопнуть, а она мне в морду – р-раз полотенцем. А полотенце-то все в муке, не прочихаешься.

– Уйди, – говорит, – противный. У тя булыжник вместо сердца и ладони потные.

Ну про ладони-то она соврала. А булыжник – что да, то да. Есть такое дело. Говорю же, у хозяина коготь.

Я когда мальцом был, жил в королевском замке и королю числился сыночком. Это мне лет до десяти очень нравилось, особенно в солдатиков играть с мушкетерами отцовской охраны – выкатишь бывало пушечку, зарядишь, бывало, пареной брюквой... А вот после десяти разонравилось резко. Потому как у нас в королевстве обычай такой, как только старшему принцу десять лет стукнет, должен он отправиться на подвиг и сразиться с супостатом. Это с Жидерцом, то есть. В Стране, блин, Вечной Полночи. А мне эта Полночь нахрен задалась. Она от нас вообще за три королевства, это если Страну Трех Часов Пополудни и протекторат Пятничного Чая не считать. И мост-то туда ведет трухлявый. Но пришлось. Ноблес, понимаете ли, облич.

Ну, нас таких героев недоделанных много было. Вон, разрезают под стеной, чирикают, надо рвом стрекоз ловят. Я-то хоть не совсем дурак был. Как только Жидерец у меня меч мой хреновенький выбил и к стеночке прижал, и предложил так ласково: «В охрану ко мне пойдешь – или полетаешь?» – я сразу просек, что к чему. Лучше все же человеком, хоть и с булыжником в груди, чем такой вот бессловесной тварью. Потом, этим птахам ведь и покоя нет. Я на своих охламонов прикрикну и под юбку к Фроловне, а они, бедные, целый день напролет трудятся. Им надо побольше стрекоз и мух наловить. Они ангелов и бесов кормят.

Ангелов и бесов Жидерец держит в кулинарных целях. Он с ними пироги очень любит. Прошлая кухарка, дура редкая, так и пекла. Лезла с лукошком, ангелов и бесов по гнездам собирала и в пирог – хрясь. Живых. У меня на что сердце каменное, а и то муторно было слушать, как они из печи пищат. К счастью, та кухарка быстренько с восточной стены навернулась. Ангелы у нас на восточной живут, им солнце милее, а бесы на западной. Ну так она, кухарка то есть, спросоня за ангелами на восточную стену полезла, а галка ее какая-то, побойчей которая, клювом в глаз – тюк! Может, птица, конечно, и совсем тупая была, и кухаркин глаз за жука приняла, а, может, и нет. Кто знает. Птицы эти ведь к бесам и ангелам привязываются очень, как к птенцам почти. Гнезда для них лепят. Вся замковая крыша в гнездах.

Ну так вот, о Фроловне. Та быстро сообразила, что хозяин-то наш – ку-ку. А сердце у Фроловны доброе. Мы с ней почему и познакомились. Она мне как-то утром говорит: «Эмо, не окажете ли вы мне любезность?»

– Очень даже окажу, – говорю и портки подтягиваю. И повязку свою красную шелковую поправляю.

– Наловите мне, пожалуйста, во рву лягушек. Корзинки две-три.

Я-то, дурак, решил поначалу, что она просто со мной заигрывает.

– А зачем вам, прелестная, – говорю, – лягушки?

– А я из них суп хранцузский буду варить.

И передничком прикрывается, от жара кухонного розовая вся, и глазками хлоп-хлоп. Ну я что? Охламонов заслал своих на пруд с неводом, они мне живо три корзины лягв представили. Не каких-нибудь там худосочных, а зеленых, скользких, одна другой жирней.

– Получите,- говорю, – и распишитесь.

А она мне «ой, спасибо вам преогромное» – и с кухни меня выталкивает. Ну я, конечно, сделал вид, что ухожу, а сам в щелку подсмариваю. Гляжу, у нее на столе лукошко, а в нем эти бесы-ангелы копошатся. А она им: «Утю-тю, миленькие мои, плохой дядя Жидерец вас скушать хочет, но мы же не дадим ему таких муципусичек жрать, правда, не дадим?». И на пол ссыпает всех этих ангелов. А они в стороны как прыснули, да в крысиные норы – шасть – только их и видели. Одним словом, паразиты.

Ну, Фроловна моя тесто замешивает, раскатывает, и опа – корзинку с лягвами туда. И в печь. Я от восторга даже крикнул, только громко очень, она к двери оборачивается и говорит: «Ах!». И снова передничком закрывается, только в страхе уже. А я ей так по-благородному, принц я, в конце-концов, или не принц:

– Мадам, – говорю, – я вас не выдам.

– Правда? – спрашивает.

И сама аж трясется, бедная. Ага, кому охота быть следующим монтрезором.

– Правда, – говорю. – Я унесу вашу тайну с собой в могилу.

А она снова: «Ах!» – и в передник. Ну и понеслось, в общем.

Вот и сегодня это она со мной так кокетничала только, а сама – ух! После сели мы кофий пить и плюшками заедать. Только я прикочил третью плюшку и к четвертой примериваться начал, любовь моя себя по лбу как хлопнет.

– Ох, – говорит, – Эмо, дорогой, тут от кузнеца из деревни мальчонка забегал. Тебя спрашивал. Говорит, ножны уже готовы.

Ну, я в затылке чешу, потому как никаких ножен кузнецу не заказывал. Однако идти придется. С кузнецом мне ссориться не резон. Кузнец – он и в Стране Вечной Полуночи кузнец.

Поправил я свою повязочку красную, шелковую и в деревню зашагал. Иду, значит, по деревенской улице мимо трактира, а оттуда орут мне: «Эмо! Эй, Эмо!». Заглядываю внутрь, а внутри-то вся компания честная в сборе. Ну кузнец-то – понятно, он по пиву спец у нас. Потом еще доитель. Доителю вообще без спиртяги никак. У него работа нервная. А вот что за хрен с горы у них за столом устроился, я и знать не знаю. Подхожу. Присаживаюсь. Мне сам тактирщик пиво тут же тащит – просекает, что я не чушка какая, а сам командир замкового стройбата. Отхлебываю я, значит, пива, и говорю спокойно так:

– Привет, кузнец. С другом своим меня познакомишь?

А кузнец в ответ:

– Это мне не друган, а самый настоящий родственник. Из протектората Пятничного Чаю. Ювелир, между прочим.

Гляжу я на родственника. Видал я таких ювелиров. Пиво те ювелиры полируют – дай бог каждому. Особенно за чужой счет.

Тут ювелир кружку отставляет и говорит:

– Приятно, – говорит, – познакомиться. Много хорошего я о вас слышал.

Вот, думаю, зараза. Что это кузнец ему про меня наболтал?

А кузнец глазом единственным – мырг-мырг. На втором повязка. Второй-то глаз, если по чести, у него целехонек, только болезнь такая в ем, для работы очень бесполезная. Астигматизм. Приходится выкручиваться. Но все равно все вилы у кузнеца выходят какие-то кривые.

Между тем кузнец пиво свое приканчивает, ко мне через стол наклоняется и говорит:

– Такая фигня, Эмо. Надо бы родственнику моему очень в замок.

Э, думаю, да у них тут дело затеивается.

В общем, юлили они недолго. Как-то пронюхал родственник, что у Жидерца, хозяина нашего, вместо сердца – рубин преогромнейший.

– Здоровенная каменюка. Каратов на тысячу. А, может, и миллион. Распилим, продадим и заживем на славу. Подальше отсюда. Я себе уже и особнячок в Стране Непрерывающегося Рассвета присмотрел.

– Ага, – говорю, – особнячок. А как ты тот камень из Жидерца-то выковыряешь? Пока ты у него в груди копать будешь, он тебя когтем – хрясь.

– Видали, – говорю, – мы таких умных.

– А тут, – говорит ювелир, – в дело вступает наш любезный доитель.

И пальцем грязным в него тычет.

У доителя вообще-то и имя есть, только его все забыли. Может, Ирмо, но, может, и Намо. Дикий человек доитель. В пещере смрадной живет. А над пещерой растет дерево анчар, и яд каплет сквозь его кору. Не всегда, конечно, а если знаешь, как подоить. Вот доитель анчар и доит, и с того живет. Ядом, попросту, торгует. А чего, товар ходкий, не залеживается, поди.

– Я, – говорит доитель, – Господину Като яд поставляю.

– А на что ему яд, – спрашиваю, – когда у него коготь есть?

– Ну, милый, многого ты не знаешь. Как думаешь, почему хозяин наш злобный такой?

– Такая уж у него, – говорю, – натура.

– Натура, – доитель хмыкает, – да не натура то вовсе! Он каждую ночь сердце свое – рубин в тыщу карат, то есть – из груди вытаскивает и в стакан с ядом погружает. Так сердце становится презлобным и преядовитым.

– Ага, – говорю, – то есть это вы к спальню к хозяину нашему хотите ночью забраться и сердце скрасть? Умно.

– Только ни фи́га, – говорю, – у вас не выйдет. Там охрана на каждом шагу, не чета нашим, стройбатовским. И по стенке не влезешь. Стенку я сам строил, знаю.

– Наклон у ей, – говорю, – отрицательный. Даже с кошками альпинистскими не возьмешь.

– А вот для этого-то, – ювелир-ворюга отвечает, – мы вас, любезный Эмо, и позвали. У вас, кажется, хорошие отношения с кухаркой?

– Неплохие, – говорю, – всем бы таких отношений. Но Фроловну я в спальню к хозяину не пущу. Знаем мы этих хозяев.

– А и не надо в спальню. Хозяин ваш каждый вечер преогромный торт с зеленым масляным кремом заказывает?

– Ну, – говорю. – Заказывает. И что?

– А то, что торт этот к нему прямо в спальню доставляется. Только я, хехе, – ухмыляется ювелир, – знаю наверняка, что он торта этого не ест. Потому что у него холестерин в крови зашкаливает. Он только смотрит на торт, облизывается и еще большей злобности преисполняется. А утром торт на помойку выкидывает.

Все-то ты узнал, все-то ты высмотрел, думаю. Ох, и не нравишься ты мне, господин ювелир. И не ювелир ты вовсе. А тот лыбится, как ведро помойное.

– Теперь, – говорит, – Эмо, вы поняли мой гениальный план?

А чего тут понимать. Я ж не дурак, я ж принц, все-таки. Хоть и с кирпичом в груди и в красной повязке.

Фроловна, когда мы к ней на кухню завалились и рассказали все, разохалась, но помочь обещала. К вечеру торт был готов. Только незадача вышла. Фроловна к ювелиру нашему принялась и говорит:

– Нет, – говорит, – ни за что такое я в торт не положу. У хозяина нюх, как у мыши. Он перегарище этот за три версты учует. Не хочу я в монтезоры из-за ваших пакостей идти.

Что делать? Пришлось мне в торт лезть. Ювелир поначалу, конечно, возражал очень. Думал, что я с рубином-то смоюсь. Сам, небось, так и собирался поступить, каналья. Ну потом я ему предложил с кузнецом под стеной ждать. Это я чтобы если из окошка навернусь, как спускаться буду, так хоть падать на мягкое. Поворчал ювелир, поворчал, да и согласился.

Я с собой в торт еще веревку длинную прихватил. Чтобы потом по ней из окошка – и тикать. В охране-то под стеной ребята мои, стройбатовские. Гвардии хозяйской на такое дело не хватает. Да и нафиг ее, стену, охранять, если по ней все равно не влезешь? Ну я стройбатовцев еще днем всех в отгул в деревню отправил, так они в трактире до того набрались – кошку от человека не отличат.

Залез я, значит, в торт. Сижу. Мокро. Липко. Фроловна меня сверху кремом замазывает, плачет и в макушку целует.

– Глупый ты мой, – говорит, – пропадешь ведь. Кто мне тогда лягушек для пирогов таскать будет?

– Не журишь, – говорю, – Фроловна, все будет окей.

А больше сказать ничего не успеваю, потому что в рот крем набивается. Зеленый. Масляный. Жирный – жуть.

Чувствую, поднимают меня. Несут. По лестницам несут. Ставят. Видеть ничего не могу, но чую – нехорошо кругом. Это я, значит, уже в спальне хозяйской. Самое отвратное место в замке. Так и сочится злобным колдовством. Сижу. Стараюсь кремом не сопеть. В бок мне впивается что-то. Ой, думаю, неужто он на диету наплевал и торта решил отведать? Но пронесло. Это я потом понял – мне в бок его взгляд яростный и злобный впивался. До того ему торта хотелось. А нельзя. Это и болонку взбесит, не то что Жидерца.

Ну, подождал я еще чуть-чуть, и отпустило. Это он заснул, значит. Я еще для верности подождал и из торта полез.

Вылезаю. Оглядываюсь. Темно. Только на тумбочке прикроватной стакан с ядом недобрым янтарным светом светится. А в нем кругляш большой алеет. Эге-ге, думаю, да тут карат не то что на меня да на Кузнеца с ювелиром и доителем – на весь мой стройотряд хватит. И еще парочка останется.

Подхожу я к стакану, перчатки по пути на руки натягиваю. Перчатками меня доитель снабдил, потому как без них с ядом – никак. Ну на левую руку я перчатку натянул, а на правую не успел, оттого что стакан вдруг заговорил человеческим голосом.

– Привет, – говорит, – мужик. Выпей меня.

Э-э, думаю, не такой я дурак, чтобы яд глотать.

А он будто мысли мои читает.

– Болван, – говорит, – это не рубин во мне лежит, а аметист. А он яд обезвреживает, даже дети малые это знают.

– А еще во мне, – говорит, и внаглую так подмигивает, – вся сила жидерецова. Выпьешь, станешь крутым.

– Пошел, – говорю, – к черту.

Совсем у меня уже, думаю, крыша набок едет. В хозяйской спальне с посудой беседую.

– Ну и дурак, – говорит стакан. – Дубина. У тебя в груди сейчас что? Правильно, обычный булыжник. А ты меня выпей и аметист себе в грудь вложи. Хозяин так каждое утро делает. Станешь могучим колдуном, да еще и королем впридачу. А нет, так и останешься принцем недоделанным. Девчонка.

И опять мне аметистом своим поганым соблазнительно подмигивает. Что тут со мной, ребята, сделалось, не пойму. Наверное, от испарений ядовитых ум помутился. Короче, схватил я стакан и в глотку себе опрокинул. Такой боли в жизни не испытывал, ей-ей – горло будто огнем обожгло. Хочу заорать, а хриплю только. На мое счастье, тут хозяин проснулся и мечом мне по башке зазвездил. Ну, я и отключился.

Очухался я во дворе, оттого, что лицо мне обдувал вонючий ветерок с замкового рва. Было мне как-то неудобно, да оно и неудивительно – потому как привязан я был к столбу. А под ногами у меня хворосту навалено – телеги две, не меньше. На другом конце двора собрались все наши – и из отряда моего, и из охраны, и по хозяйственной части. Перед ними стоял сам Жидерец со своей чертовой книжкой в руке.

– Так-так, – говорит хозяин, – очухался, значит. Крепкий ты, Эмо. Другого бы от яда давно скопытился, как бы я тебя поджарить мог, а?

И заржал, гад. И охрана его подхватила. А мои солдатики молодцы, молчат. Любят, значит, командира до последнего. Хорошо я их, значит, воспитал.

Ну, тут Жидерец список моих преступлений зачитывать начал, но это мне было неинтересно. А интересно мне было, где ж моя Фроловна? Неужто не вышла проводить бойца в последний путь? Искал я ее взглядом в толпе, искал, да так и не нашел. И стало мне жуть до чего грустно и обидно. А тут уже и Жидерец закругляться начал.

– Сейчас, – говорит, – я продемонстрирую вам свою исключительную волшебную силу и вселю попутно в ваши сердца священный ужас. Я мог бы поджечь костер обычным факелом, но нет – он возгорится от моей магии. Гордитесь, бестолочи, что такой великий колдун, как я, снизошел до банальной демонстрации.

И книжку свою раскрывает, пальчикам по строкам водит и чего-то из нее такое читает. Только ничего не возгорается. Вместо этого над замком собираются здоровенные тучи, и гром как загрохочет, и как польет!

– Тьфу, – говорит Жидерец, и воду со своих косм отряхивает. – Это не то заклинание. Кто-то мне тут все страницы перепутал. Ну ничего, сейчас...

Только что «сейчас», никто так и не узнал. Потому что вдруг из замка донесся ужасающий звон. Просто непереносимый. Кошмарный. Кое-кто в толпе даже застонал, на колени упал и за голову схватился. Я бы тоже схватился, только у меня руки к столбу были привязаны. Звенело и гудело так, будто небо над замком лопнуло и оттуда грянулся сам Небесный Баран со своим колокольчиком, а заодно и все его стадо. Стены задрожали, заходили ходуном стены, и как обрушились! Только пыль столбом. По науке это называется резонансом. А у нас, в стройбате, по-простому – навоз вместо цемента.

Ну, народ, как слегка очухался, разбежаться начал, конечно. А хозяин ничего, быстро в себя пришел. Лицом только позеленел и перекопился весь.

– Ах так! – кричит.

Вскакивает и с мечом наперевес на меня несется, как бешеный бык. Ну, думаю, пропал я весь. Однако чую – кто-то мои путы дергает. Оглянулся, а там птиц поналетело! И все эти птахи стараются, веревки клювиками долбят и узлы распутывают. В два счета меня освободили. А четыре особо жирные галки подлетают и меч мне в руки роняют. Кривой, конечно, меч. Нашего кузнеца изделие. Но ничего, тут уж не до жиру, и кривым мечом повоевать можно.

Только я все равно собрался помирать. Потому что помнил, как Жидерец меня тогда, десять лет назад, острием к горлу – и к стеночке. Однако солдат не сдастся без боя. И парировал я его яростный удар. А потом еще. И еще раз. А потом Жидерец все же побеждать стал. Артеросклерозные бляшки – бляшками, но триста лет практики не похеришь. Хак, бум, хрясь – и мечок мой в сторону летит, и железо холодит мне горло. Все, думаю, прощай, Лизавета Фроловна, и плюшки, и кофий твой прощай. Зажмуриваюсь покрепче, чтобы не так страшно помирать было... Однако че-то разить меня супостат не спешит. Открываю осторожно глаза. Застыл, каналья! Как есть застыл. Рожка зверская недвижна. Приступ у него, короче. Ну, я не стал ждать, пока он отомрет, кривулю свою подобрал и в грудь ему по самую рукоятку всадил. Звякнуло что-то. И рассыпался Жидерец. То есть буквально. По камешку. Как его проклятый замок. Только осколки аметистовые во все стороны брызнули.

А ко мне от развалин уже Фроловна бежала, и целый выводок ангелов и бесов за ней по пятам.

Что, говорите, там за история со звоном этим? Ну дак просто все. Фроловна моя, как про казнь прознала, к Жидерцу птичек заслала. Птички-то страницы из жидерцовой книжки и повыдергали. Включая ту самую, с монрезоровым стишком. Фроловна переписала стишок две сотни раз и вручила каждому ангельчику и бесу. Те по замку разбежались. И, когда уж меня совсем казнить начали, стишок одновременно каждому монрезору прочли. Ну, монрезоры и зазвенели. Я же сказал – резонанс. Наука, блин.

Потом... да что потом. Книжку я подобрал. Заклятье там нашел, которое птиц обратно в людей превращает. И обратно всех наших птах превратил. Да. Только они уже не детишки были, увы, потому как птичий век короток. Ну я им в утешение по аметисту раздал, на ювелирову телегу посадил и по домам отправил. То еще было зрелище. Но они ничего... восприняли стойко.

Ювелиру тоже, конечно, перепало. Да и кузнецу, и доителю. Оно и правильно. Доитель основного своего клиента лишился. По миру бы, бедняга, пошел. А кузнец ничо, на руки поплевал и пошел перековывать кривые мечи на кривые орала.

А Фроловну я на белого коня посадил и домой поскакал. Думал, меня там, как принца-победителя и вообще героя, цветами встретят. Ни фига. За то время, пока я в стройбате вкалывал, власть в родном королевстве успел мой дядюшка узурпировать. Он там папаше че-то такое в ухо влил. Медики говорят, валерьяновую настойку, но я думаю, что то был анчарный сок. Папонька и скопытился. Я, впрочем, не особенно плакал. И в самом деле, что за мода такая – старших сыновей еще до достижения пубертатного возраста со всякими уродами отправлять сражаться? Ну и с дядькой я быстро разобрался. Что мне какие-то дядьки после ужасного Жидерца?

Нет, я его не убил, конечно. Я не злой совсем, даром что у меня в груди как был кирпич, так и остался. Я добрый. Я из него монрезора сделал. Теперь, если нам с женой скучно, мы спускаемся в подвал, подходим к нише, и я читаю стишок:

Летет ебеть  
Считат девять  
Девять  
Восемь  
Семь  
Шесть  
Пять  
Четыре  
Три  
Два  
Раз

ДЗЫНЬ!

2008

## ШКУРКА

На стене – экран, а в экране – моя матушка. Она морщит густые брови и говорит: «Сынок, когда же ты наконец перестанешь маяться дурью?» Тон у нее небрежный, а вот

пальцы дрожат, и столбик пепла обрывается с кончика сигареты и падает вниз, прожигая лак и красное дерево журнального столика. Впрочем, этого я уже не вижу.

Мне часто снится старуха. Во сне я точно знаю, что это моя бабушка, хотя отродясь никаких бабушек в деревне у меня не водилось. За оградой ее двора тянется вверх что-то сухое и колючее, а по двору разгуливают цыплята. Бабушка выходит из дому с решетом и сыпет цыплятам зерно. Руки у нее морщинистые, ревматичные, суставы разбухли – так и кажется, что они сейчас лопнут и брызнет солоноватая жидкость. Однако бабушкины пальцы никогда не дрожат.

– В Буэнос-Айресе расцвели олеандры. И апельсины в парке. А мой кот сбежал, представляешь? Вот дурачок, мы же его кастрировали.

Павла кривит губы – то ли смеется, то ли плачет. У нее всегда непонятно.

– Ты скоро вернешься в город? Чарли и Мэт выходят завтра на яхте. Они и меня приглашали, но как-то неудобно.

Еще бы. Моей невесте неудобно принять приглашение двух придурков-яппи. Я бы и сам не принял на ее месте. Хотя...

– Езжай. Ты же знаешь – я ведь могу и не выздороветь. А ты развлекайся.

Губы кривятся, кривятся, дрожат. Нет, все-таки плачет.

– Марк, долго еще вы собираетесь валяться в постели?

Мой психотерапевт, доктор Перейра, излучает грубоватое добродушие. Это его метод. Больному не следует давать поблажек. Ладно, он хотя бы не кормит меня галопиредолом и аминоксином, как предыдущая парочка.

– Марк, вы совершенно здоровы. Какого черта вы сидите в этой собачьей будке и пялитесь в экран?

Назвать мою спальню собачьей будкой – это в стиле доктора Перейры.

– Ваша мать мне всю плешь проела. А что я могу ей ответить? Что вам угодно разыгрывать душевнобольного?

Я подношу руку к глазам. Синие веточки сосудов тянутся сквозь красное и блестящее, неприятно пульсируя. Не знаю, что там видит доктор Перейра, но я вижу совершенно отчетливо – кожа на руке содрана. В зеркало и смотреться не стоит.

– Вы нормальны, Марк. Перестаньте вы пялиться на свою пятерню, о Господи! Если бы я уделял столько внимания своей персоне, то наверняка бы тронулся.

Может, кому-то такая терапия и помогает. Но не мне. Вдобавок, слова его доносятся сквозь привычную ватную стену. Это от боли. Стоять я вообще не могу, лежать – с трудом, а обычно пребываю в идиотской застывшей позе – приподнявшись над кроватью и опираясь на локти, чтобы как можно меньше касаться простыни оголенным мясом. Так я и провожу дни.

Утром надо мной, как солнце, всплывает одутловатое лицо Каролины. Мать ее была индианка. У Каролины толстый нос, весь в черных точках и капельках пота. Глаза ее темны, а кожа матово-смуглая, нездоровая – видимо, от недостатка воздуха. Она моя сиделка и вынуждена проводить дни в закрытом помещении. Я даже окна открывать не позволяю. Что, если влетит оса и вопьется в меня жалом? Страшно и подумать.

Каролина привычно-рассеянно улыбается и вносит таз для умывания. Таз старый, медный. Через руку Каролины перекинута чистое вафельное полотенце. Каролина усаживается в кресло рядом с моей кроватью. Даже это кресло, основательное, обитое кожей – его купил еще прадедушка, когда обставлял асиенду – даже оно крякает под немалым весом Каролины. Сиделка осторожно обмакивает полотенце в воду и проводит им по моему лицу. Она морщится от жалости, прикусывает губу. На белой ткани остаются кровавые пятна.

– Вам не больно, сеньор?

Я пытаюсь улыбнуться. Жутковато, наверное, это выглядит – оскал ободранных губ. Но Каролина – девушка мужественная. Она продолжает умывание. Обычное утро обычного дня. Умыв меня, Каролина встает и, покачивая бедрами, уходит из комнаты. Вода в тазу поплескивает и под лампами дневного света кажется почему-то лиловой. Через пять минут (ровно! ровно через пять – я от нечего делать пару раз проверял время по настенным часам, висящим над экраном) Каролина вкатит в комнату тележку с завтраком.

– То, что ты можешь есть тосты и переносишь этот уродский свет -и как ты не ослеп еще, не понимаю – доказывает, что ничего с тобой нет. Ты что, блин, "Ганнибала" не смотрел? Помнишь, там с чувака шкуру содрали – так он вечно в темноте ныкался, сосал какую-то бурду из трубок. А ты тосты жрешь. И на лампочки тысячеваттные палишься. Симулянтище ты, Марк.

Владек, как всегда, экспрессивен. Как и положено русским. Хотя он, кажется, поляк. Экспрессивен и при этом рационален. Юридическая школа, Гарвард. Закончит и будет работать на правительство.

– Угощайся, Владек. Хорошие тосты.

Он плюет и шумно уносится из комнаты.

– Зря вы с ним так, – вздыхает Каролина. – Он добрый, хотя и грубый.

Так и хочется спросить, успел ли мой друг ее потискать где-нибудь в темном уголке. Впрочем, это вряд ли. Толстушки не в его вкусе.

– Ах, Каролина, – говорю, – одна ты мне верна.

Она нерешительно улыбается. Пытается понять, что значит "верна". Бабушка в зарослях чаппарала грозит узловатым пальцем: нечего, мол, смущать невинную девушку.

– Возможно, это какая-то форма социального протеста. Или мальчик просто пытается привлечь к себе внимание. Вероятно, в детстве ему недоставало ласки...

Грубый смех доктора Перейры обрывает бляенье доморощенного светила. Третий участник врачебного диспута – моя мать – сердито смотрит с экрана. Она мало говорит, но много курит. Незаметно, чтобы ей хотелось возместить недоданные мне в детстве ласки. На меня внимания не обращают. Перейра неистовствует:

– Да вы посмотрите на этого мальчика! Двадцатилетний оболтус! Скажите просто, что ему лень учиться и вообще лень что-либо с собой делать. Ох уж эта золотая молодежь...

Он говорит с горячностью предводителя инсургентов и брызжет слюной в лицо доморощенной знаменитости. Знаменитость ежится и украдкой вытирает брызги носовым платком.

Сегодня Каролина еще более грустна и кротка, чем обычно. Она обмывает мне лоб, старательно посапывая (застарелый тонзиллит, не иначе). Глаза у нее красные.

– Что случилось, Каролина?

Она не отвечает, и я мягко беру ее за руку. Девушка испуганно охает:

– Вам же больно!

– Ничего, я потерплю. Что у тебя стряслось?

Каролина вздыхает, и ее большая грудь при этом вздымается и опадает, как беременная китом волна.

– Бусы рассыпались.

Губы у нее дрожат – вот сейчас заплачет. Я на мгновение представил себе эти бусы. Наверняка какие-нибудь глупые кораллы или ракушки, которые всучил ей рыбак с Южного берега в обмен на ночь в лодочном сарае.

– Они были жемчужные. Мама подарила мне, когда я пошла на первое причастие.

Все оказалось так невинно. Только приглядевшись, я заметил на скуле Каролины старательно запудренный синяк.

– Как же они рассыпались?

– Нитка порвалась. Я собрала кое-что, но много укатилось в щели.

Из деликатности я не стал спрашивать, кто порвал нитку.

– Не плачь, Каролина. Пойди, сделай себе кофе и вот, вытри нос.

Я протягиваю ей носовой платок. Платок почти чистый, я только однажды промокнул им лоб. Каролина мнет платок в руке, с благодарностью улыбается и громко сморкается. Нет, я ошибался – она тоже не видит.

Павла позвонила вечером. Долго что-то бормотала, мялась – так на нее непохоже. А потом выпалила:

– Марк, извини, но Владек сделал мне предложение. Мы поженимся после его выпускных экзаменов.

Я улыбаюсь. Бог мой, как жаль, что она не видит всей красной, блестящей сути этой улыбки.

– Счастливого медового месяца. Владек будет отличным мужем.

Думаю, что бы еще сказать. Говорю:

– Как твой кот, кстати? Не вернулся?

Павла с мгновение хмурится, вспоминая, потом радостно смеется:

– Представляешь, вернулся. Весь в соплях. Ветеринар сделал анализы и определил, что у него аллергия на цветущие цитрусовые.

Бабушка на птичьем дворе неодобрительно поджимает губы и качает головой. Хорошо, что мы не выбрали Павлу.

Каролина больше не носит медный таз. С таким животом, как у нее, это просто опасно. Она вкатывает его на тележке. Каждое утро, открывая дверь своим ключом, она проходит в ванную, моет руки, переодевается в рабочий халат и выкатывает тележку. Рядом с тазом лежит горка чистых вафельных полотенец.

– Патрик хочет, чтобы я поехала с ним на лето в Европу. Ты не будешь слишком скучать? Каролина о тебе позаботится. Я договорилась с ней. Она будет получать сверхурочные и сможет оставаться на ночь. Если тебе что-нибудь понадобится, ты знаешь мой телефон.

У мамы-в-экрane грустный голос. Она постарела, и, кажется, все не хочет никуда ехать со своим Патриком. И все же она ждет моего ответа, напряженно всматривается воспаленными глазами в свою половинку экрана.

– Конечно, мама, поезжай.

Кажется, после моих слов она почувствовала облегчение.

– Белый ферзь идет на А5.

Доктор Перейра передвигает фигуру за меня и задумчиво чешет затылок. Я загнал его в угол. Ему нужно минут пять, чтобы просчитать все варианты и уронить на доску черного короля. Фигурка падает со стуком и скатывается на пол.

– Знаешь, ты неплохо устроился, – говорит Перейра, откидываясь в дедушкином кресле. – В конечном счете, может, ты и прав. К чему вся эта суета...

Он неопределенно машет рукой в сторону зашторенного окна.

– За исключением твоей акробатической позы, все не так уж и глупо.

С кончика его носа срывается капля пота и – шмяк – падает на подлокотник.

– Но у тебя чертовски жарко. Можно включить кондиционер?

Он ищет пульт, не находит и идет к кондиционеру, и проходит сквозь стену, и исчезает.

Каролина протирает мне лоб вафельным полотенцем.

– Смотрите, сегодня крови как будто поменьше. Вы идете на поправку.

Я не могу понять, чего больше в ее улыбке – глупости или фальши. Под сердцем ее ворочается не мой ребенок.

– Каролина, – говорю я, – я купил тебе бусы. Посмотри там, на тумбочке.

Каролина тщательно складывает полотенце и только потом исследует тумбочку. Она находит бусы, она берет их, она их примеряет.

– Спасибо, сеньор Лагоса.

Как жаль, что в комнате нет зеркал.

– Спасибо, они точь-в-точь такие же, как те, что рассыпались.

Она поворачивается так и эдак, сожалея, что я такой странный, и не держу в спальне зеркала.

– Ты можешь сегодня не оставаться на ночь.

Каролина кивает, как мне кажется, радостно и поспешно.

Сегодня деревенская бабушка занята. Она ходит по двору и собирает цыплячий пух. Иногда попадаются и перья, ведь цыплята уже подросли. Лучше всего, когда перья выдраны с кусочками кожи в какой-нибудь петушиной драке. Обрывки ссохлась, но их легко размочить. К утру наберется достаточно. Бабушка размочит эти клочки, и перья, и пух, и сошьет мне новую кожу.

2006

## **ПОХИЩЕННАЯ**

Всем было достоверно известно, что Аннику похитили эльфы.

Анника в тот день припозднилась и, стоя на обочине, зябко притопывала ногами. Она думала о дырке в чулке, о том, что Рыжий Бо снова подкатится к ней с предложениями, о том, что новый крем совсем не улучшает цвет лица, хотя именно это и утверждают семьдесят девять процентов женщин (так было написано на упаковке), и о том, что скоро зима, и надо покупать уголь. Она думала об Изольде, о Кэтти, и Мышке, и Пэм, о диване, протертом, но все еще уютном, о кофе с корицей – в общем, о многих вещах, только не о тех, кто тормозил у обочины. О них было лучше не думать совсем. Фонарь светил у самого подножия холма, желтое размытое пятно, и Анника понимала, что надо бы спуститься и встать под фонарем, иначе ее не заметят. А рабочая девушка не может позволить себе, чтобы ее не замечали – значит, надо спуститься и встать в круге света, в ореоле мелких дрожащих капель, от которых мгновенно мокнул волосы.

Стоя на полпути между вершиной холма и фонарем у его основания, Анника была совершенно незаметна, однако длинная бледная машина все же притормозила. Не белая, а именно бледная, цвета ранних сумерек, цвета тумана, встающего над болотом. Тонированные стекла. И не четыре дверцы, а шесть. Анника пригнулась к тонированному стеклу и уже собиралась сообщить, что берет почасовую оплату – вот тут-то эльфы ее и похитили.

Прошло семь лет.

Изольда сидела в кресле, поджав под себя ноги, и красила ногти лаком. Лак был дешевый, ярко-красный и скверно пах, но в комнате и без того пахло не очень. В этой пучине запахов: гнилые яблочные огрызки, давно не стираное белье, плесень, живущая за обоями, случайно завалившийся с прошлой недели бутерброд с сыром – в этой какофонии запах лака терялся, как теряется бойкий оратор перед слишком буйной и разношерстной аудиторией.

За окном была ночь. В эту ночь Изольда не работала, хоть и следовало бы – теперь она оплачивала квартиру одна. Аннику семь лет назад похитили эльфы. Простушка Пэм выскочила замуж за адвоката, который помогал ей в том деле с крабами и метлой. Мышка свалила в Мюнхен (и чего ей дома не сиделось?), а Кэтти умерла два месяца назад в госпитале Святого Луки. Пэм даже на похороны не пришла, вот мерзавка! Изольда неловко двинула рукой и свирепо уставилась на неровное пятно лака. Она потянулась за салфеткой, и тут в замке провернулся ключ. Это, как выяснилось тридцать секунд спустя, вернулась похищенная эльфами Анника.

Анника сидела на потертом диване, вытянув длинные, невероятно длинные ноги в каких-то необычайных колготках и, оставив мизинчик, прихлебывала кофе из чашки. Кофе с корицей. Первым делом Анника сообщила, что больше всего у эльфов ей не хватало как раз кофе с корицей. Затем Анника рассказала, что бабы у эльфов холодные, как лягушки, а мужики, напротив, очень даже горячие, и что все эти горячие мужики ее, за семь-то лет... Но она не жалуется. Она очень довольна. Потому что они давали ей все, все... И, поглядев на Аннику, Изольда как-то сразу поняла, что эльфы и вправду давали ей все, все, потому что вид у Анники был... да, пожалуй, сытый. Очень сытый, как у холеной кошки, которую хозяин каждое утро вычесывает щеткой во избежание колтунов. Так подумала Изольда, накручивая на палец жесткую смоляную прядь. Про лак она уже забыла. Анника следила за пальцем и прядью, а затем сказала, что организует агентство. Что у нее есть спонсоры. Что это очень хорошая работа, а прикрытие простое, как всегда: по документам девушки как бы поедут в Канаду, потому что в Канаде очень ценят ирландских нянь и домработниц. Отличное дело. Семь лет и ты в шоколаде. Она позаботится обо всех. И в первую очередь об Изольде. Изольда молчала, накручивая на палец жесткую смоляную прядь, и думала почему-то не о горячих эльфах, а о Кэтти, лежащей на кладбище в сырой и черной земле.

Агентство появилось через два месяца. Записалось ровно двести девятнадцать девушек от двадцати двух до тридцати пяти лет. Изольда не записалась.

Тридцать первого октября, ровно в шесть часов вечера, Анника отперла ключом заднюю дверь агентства. Через дверь прошли ровно двести девятнадцать девушек в возрасте от двадцати двух до тридцати пяти лет, и больше их никто никогда не видел. Анника закрыла дверь, аккуратно провернула ключ в замке, вернулась в офис, пропустила все документы через шредер, вытащила из ящика стола кроличью лапку и початую бутылку джина и покинула здание навсегда.

Кроличью лапку и бутылку она оставила у двери квартиры, которую они когда-то снимали впятером, а теперь снимала одна Изольда. Анника некоторое время стояла под холодной лестницей, принюхиваясь к запахам лака, плесени и протухшего сыра, нестиранных чулок и человеческого жилья. Затем она ушла в ночь.

Моросило.

На перекрестке Аннику уже ждала длинная бледная машина с тонированными стеклами и шестью дверцами вместо четырех.

2011

## ДЖЕК

Город разбух, как разбухает от водянки человеческое тело. Река была не рядом, но человек с ножом знал, что вода течет и под землей: по невидимым, обложенным кирпичом каналам, каменным венам и катакомбам, затерянным в кромешной тени. Человек в силу своей профессии, а также в силу призвания сравнивал городскую канализацию с кровеносной системой, хотя наполнявшая ее вязкая желтоватая влага больше напоминала лимфу. Кровяную сыворотку. Гной. Впрочем, неважно. У человека были другие занятия, кроме как размышлять о подземных токах и принюхиваться к запахам кала и кошачьей мочи.

Мочой пахло из проулка, перегороженного мусорными кучами, а вот калом, кровью и сырой требухой – от лежащей перед ним женщины. Точнее, от того, что еще недавно было женщиной, но благодаря усилиям человека с ножом превратилось в подобие мясной лавки. Человек уделял внимание деталям. Не потому, что в них таился дьявол – в дьявола как раз человек не верил – а потому, что следовал четкому ритуалу.

Возможно, он вычитал его в древней книге. Возможно, ритуал в порыве некоего скверного вдохновения возник прямо в мозгу человека с ножом.

В проулке покачивался фонарь над одинокой дверью, и в этом боковом освещении влажно поблескивала селезенка, темнела печень, и синел опалыми боками желудок проститутки – в нем нож человека проделал аккуратную дыру. Желудок теперь напоминал дырявую волынку, которой уже никогда не заиграть. Сердце, напоминавшее волынку меньших размеров, человек положил рядом, на чистую тряпицу.

Сейчас человек обтирал другой тряпкой руки – тер и тер, словно можно было стереть столько крови куском ткани весьма умеренного размера. Еще он бормотал, как бормотал всякий раз, завершая свое дело:

– Единственная, кого он слушал... Ну шлюха, да. Женщина. Шлюха. Роняла волосы, рыдала над крестом. И ей явился, между прочим, на третий день, когда бабы пошли к пещере... И она поверила. Они верят. Они всему верят...

Последняя фраза почему-то его разозлила. Ухватив мертвую голову женщины за волосы, он прошипел ей в лицо:

– Ты, ты тоже. Веришь. Легковерная стерва. Так вот послушай: он любит таких, как ты. И мне надо...

Обычно он говорил это, когда женщины были еще живы, говорил ровно в те секунды, пока в глазах их гас свет: но эта отошла слишком быстро. Впрочем, согласно последним медицинским исследованиям, мозг умершего продолжает функционировать от пяти минут до часа – бывало, что отсеченные головы моргали глазами и даже пытались говорить, беззвучно разевая рот.

– Мне надо задать ему вопрос, понимаешь? Если он есть... Если он есть, он прислушивается к таким, как ты. Он должен услышать... Он должен ответить мне, если он, конечно, где-то там существует...

Склонившись совсем низко, человек прошептал на ухо мертвой свой вопрос, а затем разжал пальцы. Затылок женщины глухо стукнулся о брусчатку.

Потом человек собрал свои инструменты и небольшие трофеи, аккуратно сложил в черный докторский саквояж и уже направлялся к переулку с одиноким фонарем, когда

сзади – оттуда, где он оставил труп – послышался шорох. Влажное хлюпанье, будто что-то мокро плюхнулось на асфальт. Скрип, подобный скрипу механизма или треску артритных суставов. Звуки, с которыми некто тяжело, с невероятным усилием отрывает себя от земли.

Человек резко обернулся, сжимая ручку саквояжа. Мертвая женщина стояла. Кровь уже не текла из ран, но что-то текло, что-то темное и густое, как пекельная смола. Лицо покойницы было синюшно-бело, глаза черны, а нижняя челюсть отвисла.

«Ответ!» – восторженно вскрикнул человек.

Когда-нибудь Он должен был ответить.

Мертвая шагнула вперед. Человек, прижимая саквояж к груди, попятился было, но потом пересилил себя и шагнул ей навстречу. Сильнее пахнуло кровью и еще чем-то горелым, вроде паленого каучука или, может, расплавленного металла. Человек напряг слух в ожидании ответа, и ответ пришел.

Голосом механической игрушки убитая шлюха произнесла:

– Он отвечает: этот номер больше не обслуживается.

2011

## TNT

Озеро – латунная крышка городского гроба. Руки зданий, как руки младенцев к соске, тянутся к этой опрокинутой вышине. У самого берега лебедь шевелит отморозенной лапой. Выкусывает блох из перьев.

Снежный дед ходит по воде с шаманским бубном, и вода замерзает под его подошвами. Снежный дед, черная маска из этнографического музея. Город построен на его костях, ветви деревьев – его сухожилия, трамвайные пути – линии на его ладонях.

У-у – ветер с озера опрокидывает прохожих лицом в снег, закрывает им глаза, чтобы не видели, не смотрели. Снежный дед, растащенный на лифтовые шахты и крепи подземки, тараторчит им вслед. Во взгляде его – зима.

Во взгляде этого старика зимы нет. Тусклые глаза несчастливца и поношенная куртка, блин, думаю я, хреново же работают абориджинал фандс. Старик трясется на ветру и затягивается неуверенно и протяжно, как протяжно свистит поезд – ту-у, у-у. Небось, дым успевает забраться во все полости щуплого тела, а он уже снова подносит сигарету к губам, сложенной трубочкой. Наверху, в центре, орет телевизор и звучат какие-то тамтамы. А были ли у индейцев тамтамы? Да ни хрена у них не было, кроме дырявых рубах, сварливых жен и контрабандной водки. И сейчас нет. Проедешь от озера Гурон на севере до Оттавы, не увидишь ничего, только призраки былого поглядывают из-за старых древесных стволов, призраки, паутина и водяная пыль.

– Старик, – говорю я, – бесценный мой, мне срочно нужен футаж. Нужна, понимаешь, пленка к гребаному фестивалю. Что думаешь ты, старик, о сексуальных меньшинствах среди коренного населения Канады?

Старик молчит, как пень, он и слов таких не знает. Наверху, в центре, веселятся здоровенные лбы. Пригласили бы хоть старикашку внутрь, напоили чаем. Нет, стоит тут, утаптывает снег. Мимо спешат деловитые корейцы, у них, у корейцев, сложная, насыщенная жизнь, им надо завоевывать мир. А старик уже проиграл эту войну, да что там, предки его проиграли, прапрадеды и прабабки, как сейчас проигрываю и я. Но я еще рыпаюсь, я еще не до конца принял неизбежность поражения, и потому мне надо пошевеливаться. Чертов ливанец, хозяин нашего фестиваля – известный также как Дева

Малахия – решил впендюрить диск как можно большему количеству олухов, и этническая перчинка для этого самое оно.

– Старик, – говорю, – я слышал много раз, что количество нетрадиционных пар среди туземной молодежи растет.

Под нашим тлетворным влиянием, но это я опускаю. Сначала водка, затем неправильный секс. Последовательные стадии падения цивилизации. Хотя вот майя, к примеру. Что мы знаем о майя? Наверняка среди них так и кишели извращенцы всех мастей. Я уж не говорю об ацтеках, с ними-то все понятно, кремниевый нож, пронзающий плоть – да, тут и Фрейда не надо. Эх, Дева наша Малахия полжизни бы отдал за репортаж об ацтекских жрецах-педиках, но, увы, Кортес успел раньше.

– Старик, – говорю, – отверзни уста, тяжелые как мрамор, и скажи мне: как ты к этой печальной тенденции относишься?

Старикашка молчит, как ацтекский партизан на допросе. Глаза его безжизненны и подернуты мутной орлиной пленкой, морщины у рта забиты желтой крошкой. Глухой он, что ли? Черт с тобой, старик, думаю я, не дам я тебе вымотать остатки своих нервов, лучше спрошу секретаря общества. Топою вверх по ступенькам. Сумка с камерой оттягивает плечо. В последний раз оглядываюсь у дверей: старик стоит, ежится, спина его под курткой подрагивает мелко и часто, как крылья издыхающей птицы.

Через час, отловив и практически изнасиловав запуганного секретаря, я спускаюсь вниз. У входа мнется здоровенный индеец. В руках его полиэтиленовый пакет, из пакета торчат орлиные перья.

– Сколько воинов ты убил, чтобы заслужить этот убор?

Детина вздрагивает.

– А?

– Старик тут, – спрашиваю, – стоял. Тощий такой старикашка, кожа да кости. Вы хоть внутрь его пригласили? Замерзнет ведь.

Абориген бормочет что-то невнятное и тычет пальцем вниз, к подножию лестницы. Там торчит покосившийся столб, грубо расписанный под индейца. Верхушка столба присыпана снегом.

– Ты чего мне в эту хреновину пальцем тычешь?

– Гивэ дананг. Вы зовете его Полярной звездой. Старый дух иногда спускается с неба, чтобы покурить. Мы даем ему сигареты, только они не идут старику на пользу, и ему приходится возвращаться обратно. У бедняги рак легких, но там от этого не умирают.

Индеец поднимает глаза к наливающимся чернотой небу. Над макушкой Полярной звезды зажигается фонарь. Я не верю ни единому слову индейца – наверняка старик докурил и ушел домой, в пропахшую китайским фастфудом многоэтажку на углу Блур и Спадайны. Я и сам живу неподалеку и знаю наверняка, что голоса предков не звучат из-под груза камней. Ремень сумки все сильнее врезается мне в плечо. Звезда Гивэ Дананг карабкается в небо над городскими окраинами. С нижней ступеньки коттеджей она бережно взбирается на коробки складов, а уже оттуда перепрыгивает на гудящую мачту небоскреба. Там легкое тело подхватывает ветер и швыряет вверх, в острозубый космос. На мостовой копошатся деловитые тени, надрывается полицейская сирена вдалеке, и месяц духов приносит с озера колючую снежную пыль.

2007

## МОЛЕЛЬНЫЙ РОБОТ ЗАХАРИЯ

"Три миллиона жизней - это плата за независимость?! От чего? От вязанки соломы?!"...

Вся эта история началась в Вегасе, когда Вермон Шульце, вместо рулеток и одноруких бандитов, поставил в своем казино молельного робота. Нет, пожалуй, история началась чуть раньше, когда Вермона звали Захарией и он, закатав рукава широкой холстяной рубахи, прилежно ворочал сено в амбаре своего папаша Джозефа. Папаша Джозеф был эмишем, да и все соседи его были эмишами, поэтому и юный Захария Шульце - рыжая бородка его только начала пробиваться и не уступила еще место известным всему Вегасу пышным бакенбардам - тоже был эмишем. Эмиши не признавали электричества. Единственной уступкой зловещей и запретной силе стали торчащие над домами громоотводы - грозы в тех местах отличались свирепостью и размахом. Человек придирчивый счел бы громоотводы жульничеством, но все мы идем на маленькие сделки с совестью. Эмиши разъезжали по округе в повозках, запряженных лошадьми, и прилежно трудились с утра и до вечера, а с вечера до утра предавались невинным утехам в кругу семьи и здоровому сну. Однако юному Захарии такая жизнь была не по нутру. Оставив под одеялом вязанку соломы, чтобы отец не хватился прежде времени, он прошел пешком от родного Галлоуди в штате Огайо и до Вегаса. В Вегас он пришел уже Вермоном, бородку по пути сбрил и принялся отращивать бакенбарды.

Итак, о роботе. Пока Вермон подрабатывал официантом, получая образование на двухмесячных курсах крупье, о роботе было не слыхать. И позже, когда Вермон получил таки вождеденную должность крупье-стажера в "Золотой устрице", роботом еще и не пахло.

Нельзя сказать, что у Вермона не нашлось бы разногласий с Господом. Нет, разногласия имелись. Так, Вермону хотелось быть стройным брюнетом, наподобие красавчика-мексиканца Родриго, на которого вешались все девчонки из баров. Но - что уж тут поделать - был Вермон невысок, тощ, угреват и, если бы не бакенбарды, во внешности его не нашлось бы ничего примечательного. Далее, Вермон совсем не возражал хорошенько заложить за воротник, но слабое здоровье - в детстве переболел скарлатиной - не позволяло молодому человеку беззаботно наслаждаться спиртным. И, наконец, Вермон любил всего две вещи - деньги и итальянку Лючию. Лючия работала в стрип-клубе и была вовсе не итальянкой, а еврейкой из Нью-Джерси, но об этом Вермон узнал только впоследствии. То есть, после свадьбы. То есть тогда, когда он, уже один из менеджеров "Золотой устрицы", сделал Лючии предложение, и Лючия согласилась, и они быстренько окружились тут же за углом, и маленький зал пах нарциссами. А через два дня к новобрачной прибыла ее родня из Нью-Джерси, и Вермон понял, что аромат нарциссов - это на одну ночь, а визгливая и богобоязненная теща - это надолго. Отчасти Вермон даже сочувствовал жене. Понятно, почему девочка сбежала из дома и даже нанялась на работу в стрип-клуб. С такими родителями не то что в стрип-клуб - в карательный отряд СС запишешься. Высказать свои мысли Вермон, однако, не решался, ибо по природе был трусоват.

Короче, с Господом у Вермона были запутанные отношения, и чем дальше, тем больше, а потом, когда пронесся слух о закрытии игорных домов, отношения испортились окончательно. То есть закрывать казино никто не собирался, нет, но налоги взвинтили настолько, что все предприятия поменьше мигом разорились. Поговаривают, что за налоговой авантюрой стояли владельцы крупных казино. Так или не так, а бизнес у Вермона был средний, и пришлось ему нелегко. Вот тогда, в один из жарких вегасских вечеров, когда в пустыне завывали койоты, об освещенные стекла бились крупные, выманенные из мрака комары-долгоножки, а теща в очередной раз решила поведать зятю о том, каким нечестивым делом тот занимается, Вермона и осенило. И он придумал молельного робота. То есть просто-напросто заменил барабан в одном из одноруких бандитов. Вместо фруктов и зонтиков появились слова: "ваша" и "молитва" и "непрерменно" и "исполнится". Штука в том, что получить такую комбинацию, да еще и в

нужном порядке, было почти невозможно. А среди посетителей казино оказалось множество шутников или, напротив, робко-религиозных типчиков. Это из тех, что в церковь не ходят и в Господа, конечно, не веруют - если на людях. Но тихонько, сами с собой, подумывают иногда - а вдруг? И то монетку нищему кинут, то, прикинувшись слабо заинтересованными туристами, свечку запалят в каком-нибудь заграничном соборе. А уж если таких прижмет - э, да тут сразу понятно, куда бежать. Конечно, к молельному роботу Вермона Шульце. И ронять, ронять в щель жетончики, надеясь на заветную комбинацию. Молельный робот никак не мог считаться игровым автоматом, потому что никаких материальных благ выигравшему - если вдруг такой случится - не сулил. Вермон быстренько запатентовал изобретение и, раскрыв зонтик, принялся ждать золотого дождя. И дождь, как ни странно, хлынул. Вскоре пару рулеток пришлось убрать, чтобы освободить место для новых молельных роботов - близнецов старого, и все же не таких, совсем не таких любимых.

Утром, после закрытия, Вермон подходил к первому роботу, гордо высившемуся на платформе у входа и посверкивающему полированными боками. Вермон ласково поглаживал робота и называл его Захарией, в честь того давнего рыжебородого паренька с вилами. К сорока Вермон сделался сентиментален и все чаще вспоминал Захарию, и свежий запах сена, и скрип колодезной веревки, и аккуратный белый чепчик Ольги - жены соседа. И ее широкую юбку, и васильковые глаза, и как она шла, балансируя тяжелыми, поплескивающими водой ведрами на неудобном деревянном коромысле. И в такие минуты Вермону до слез хотелось все бросить, продать бизнес... нет, даже не так. Ничего не продавать, а сбежать ночью, украдкой, как бежал он когда-то из родительского дома. Чтобы и Лючия, и ее визгливая мамаша, и огромный, в самом дьявольском пекле расположенный город сгнули вдаль, как рассеивается мираж над пустыней. И утро чтобы встретило бывшего Вермона, ныне Захарию, запахом речной воды и свежее испеченного хлеба. Так думал владелец казино, а потом вздыхал, запирал сейф и шел наверх, где его ждали вино, ломота в пояснице и Лючия.

Так вот однажды... да, это было в пятницу, как раз перед закрытием. За окнами серело. В городе гасли неоновые огни, над пустыней стлался рассвет. Дверь казино открылась... ах нет, никто не видел, как она открылась. Просто этот оборванный человек уже стоял у молельного робота и кидал в щель жетон за жетоном. Человек был худ, как скелет, сутул, и вдобавок пол лица его закрывала огненно-рыжая борода. Он дергал ручку автомата и все бормотал, все бормотал, даже когда его оттащила охрана. Он бормотал: "Захария, Захария, Захария. Меня зовут Захария. Не Вермон. Захария, я Захария". Черт его знает, что это был за человек. Поговаривали, что они с Вермоном выглядели чуть ли не близнецами, так что Билл-Неврастеник - крупье с пятнадцатого стола - даже принял бродягу за хозяина. Врут. Ничего общего с Вермоном у незнакомца не имелось, кроме, разве что, цвета волос. Да и те у владельца казино изрядно пробило сединой, а у нищего они горели, как огонь. Конечно, охрана вышвырнула бродягу вон, но не прежде, чем тот попался на глаза директору. И очень зря. С этого момента и началось безумие Вермона Шульце. Как утверждает его супруга, Лючия, Вермон ввалился в занимаемый ими на пятом этаже отеля номер бледный, как стена. Он крупно дрожал и бормотал: "Вязанка соломы. Вязанка. Вот тебе и вязанка". Против обыкновения, Лючия не швырнула в мужа вазой и не расцарапала ему физиономию, а слегка обеспокоилась. Все же за пятнадцать лет совместной жизни она к Вермону очень привыкла, да и характер у фальшивой итальянки из Нью-Джерси был скорее добрый и отзывчивый. Лючия вызвала врача. Врач, выслушав рассказ бизнесмена о том, как оставленная в Галлоуди вязанка соломы ожила и явилась упрекнуть Вермона за ее, вязанки, загубленную жизнь и за ночное бегство из родного дома, прописал больному успокоительное и посоветовал обратиться к психиатру. Однако к психиатру Вермон обращаться не стал. Очнувшись к вечеру следующего дня и слегка поколотив жену, он объявил, что к нему переезжает жить брат-близнец. На стол следует ставить еще один прибор, а вообще Захария малый скромный и никого не

обеспокоит. Жена поплакала, пошвырялась вазами, а затем смирилась с тихим безумием мужа - тем более что в остальном тот был вполне нормален, и я имею в виду во всем остальном. Матери, давно ходившей у дочки по струнке, Лючия велела молчать. Так с тех пор и повелось. За столом стоял лишний прибор. Соседний номер занял несуществующий гость отеля по имени Захария Шульце. Иногда, во время обеда, Вермон бросал короткие реплики в сторону пустого стула и вроде даже выслушивал ответ - по крайней мере, прикладывал ладонь лопаточкой к уху. С возрастом владелец казино стал глуховат - последствия удара коромыслом, которым по молодости наградил его муж розовощекой Ольги. Так бы дело потихоньку и шло, вот только Вермон становился все беспокойней. Однажды ночью он под страшным секретом поведал Лючии, что Захария задумал его убить, а затем прикинуться им, Вермоном и заполучить казино, и даже Лючию. Пристально глядя в глаза супруги, Вермон допрашивал: опознает ли она настоящего мужа или спутает с самозванцем? Лючия уверила, что опознает, и успокоила больного на слегка расплывшейся, но теплой и мягкой груди. Затем пошли шумные ссоры за обедом. Вермон швырялся тарелками в пустой стул, выбежал из-за стола и грозил кулаками.

- Ну и что? - вопил он. - Да, я оставил тебя. Да, ушел, ушел и на-ко, выкуси! Захотел и ушел. Захочу и отсюда уйду. И снова тебе брошу, да, не нужен ты мне совсем! Даром только хлеб мой жрешь. Был бы ты хоть механиком, машину бы тогда чинил. Но нет. Где тебе машины чинить. Ты же эмиш. Слышишь, Э-М-И-Ш! Поганый тупой эмиш, только и можешь, что копать в навозе и молиться Богу - такому же, как ты, лупошарому и бородатому.

Мать Лючии в ужасе прижимала ладони ко рту. Пусть костерили и не ее бога, но все же бога, а это никуда не годится. Быть беде. И беда случилась, хоть и совсем не такая, как ожидали.

...А черт его знает, что он там бормотал, дергая ручку молельного робота. О чем просил он, безумец с большими рыжими бакенбардами. "Избавь меня, Боже, от Захарии?" "Сделай так, чтобы Захарии не было?" Только утром Захария исчез. Оказывается, и тот, кого нет, может исчезнуть. В отеле не чувствовалось больше его молчаливого присутствия. Горничная сменила белье в номере и убрала табличку "Не беспокоить" с дверной ручки. Лишнего прибора за столом тоже не требовалось. Казалось бы, и бог с ним, жить бы да радоваться - но широкий, с залысинами лоб хозяина все морщился в недоумении. Дело в том, что исчез и знаменитый молельный робот. Ага, тот самый, первый. Который тоже Захария, и четыре барабана которого в то судьбоносное утро - в первый раз за чуть ли не дюжину лет - сложили фразу "Ваша молитва непременно исполнится". Так вот, он исчез. Это был первый звоночек. А потом уже пошли газетные заметки. Шумиха поднялась и в сети, и в прессе, да где только ни поднялась. Дискуссии вели ученые. Диспуты. И даже подозревали всемирный заговор, то ли сионистский, то ли наоборот, хотя как это - наоборот?

К счастью, Захария не слишком распространенное имя. Зарегистрировали около трех миллионов таинственных исчезновений, самым удивительным из которых было исчезновение пророка Захарии и даже одноименной книги из всех изданий Ветхого Завета и Торы.

Вермона Шульце, конечно, увезли в психушку. Он и не буйствовал особо, только бормотал, тихо и сокрушенно: "Три миллиона. Три миллиона жизней. Это что? Плата за независимость? Независимость от чего? От вязанки соломы? Или от судьбы? Но от судьбы не уйдешь, как от молнии - подстережет в чистом поле и ударит". Жене, во время ее кратких визитов в психиатрический госпиталь, он жаловался на машинную логику проклятого молельного робота.

"Если бы я только догадался сказать - тот самый Захария, Захария-из-вязанки. Понимаешь? Когда за ручку эту чертову дергал. Не просто Захария, а тот самый. Тут все дело в электричестве, не иначе".

Лючия рассеяно кивала. За время болезни мужа дела пошли под откос, и казино с отелем пришлось продать. Они с матерью собирались переехать обратно в Нью-Джерси.

Когда Лючия навестила супруга в последний раз, тот был неожиданно торжественен и ясен. Лишь после упоминания о продаже казино обеспокоился на минуту и спросил о судьбе остальных молельных роботов. Лючия объяснила, что покупатель роботами не заинтересовался, а переделал их в обычные игровые автоматы. Вермон тут же просветлел и, улыбаясь, сказал: "Знаешь, я думаю иногда. Куда они все делись? Все Захарии? И порой мне кажется, что не так уж плохо все получилось. Может, им там хорошо. Когда кругом все свои, понимаешь, такие же как ты, самые настоящие Захарии..."

Лючия сокрушенно вздохнула и подумала, что, когда они с матерью переедут, надо завести хотя бы кота - коли детей у них с Вермоном так и не получилось. Уже уходя и придерживая дверную ручку, она вдруг вспомнила.

- Ах да. Я оставила себе один из автоматов. Ну, из тех, о которых ты спрашивал. Все-таки это твое изобретение, нехорошо, если их все сломают. Поставлю для смеху в гостиной...

Лохматая рыжая комета понеслась на Лючию, и только два вбежавших санитаря сумели удержать бьющегося в их руках безумца.

- Не трогай ручку! - вопил бесноватый Вермон. - Не прикасайся к ней! Прошу тебя, Лючи, умоляю, об одном прошу: оставь ее в покое!

2009

## ТРИНАДЦАТАЯ НОЧЬ

Потные могучие спины склоняются – к печи, к печи, к печи. Мечи, бабка, калачи. Раздрай, Воскресение, свежие куличики, верба по всем палисадам. Мужики в хромовых сапогах валят и валят к церкви, вороны ищут в синем небе поживы, и гармоника надывается так яростно, так протяжно.

- А скоро ли Масленица?

- Дак Масленица, чай, прошла уже, Пасха на дворе.

- А что же это вы, хозяйка, печете?

- Все пекут, и я пеку.

Дым из трубы, понятно, коромыслом. На заводах не то. Там на широкую ногу все, новое, промышленное – и вместо ухватов какие-то новые конвейеры, говорят, и печи – не печи, а брюха адовы. И вместо бабки в цветастом платке или мокрогубой, простоволосой, трудится рабочий-молодец с широкой спиной, с лопатками-крыльями, он тесто в печь так и кидает, так и мечет яростно – небось, мнится ему, что не каравай кидает в печь, а хозяина-эксплуататора. А хозяин сидит наверху за высокой конторкой, на счетах прибыли подсчитывает: шелк, шелк. У печи, опять же, батюшка длиннорысый, сивая борода вперед торчит, от жара едва не опалается. В руке – кропило, рядом – ведро со святой водой. Вода парит. Кому же, как не ему благословить православное воинство? А воинство из печи выскакивает, свежее, румяное, сразу там же и в колонну строится. С соседнего суконного завода им и обмундирование поставляют, даром что суконщик – тварь, шельма – ворует много, и обмундирование-то все гнилое. Священник махнет кропилом, склонят новоиспеченные воители круглые головы. Прослушают молебен и крест облобызают. Потом все так же, строем, из завода пойдут, и непременно впереди кто-нибудь песню затянет, потому как за Святую Русь без песни воевать идти – последнее дело. По бокам дороги горожаночки юбками – шурх-шурх, глазки шурят, смеются, вербные ветки солдатам бросают. Запевале больше всех достается. На обочине мокрый дотлевет снег, на

нем лошадиный навоз и галки. А на вокзале уже и поезд ждет, теплушки деревянные, паровоз выпускает пары – чух-чух. Грузятся солдаты по теплушкам, и поволочет их машина стальная на фронт, на войну с немцем-басурманином.

Молодка, которая самую пушистую ветку запевале кинула, вздохнет:

- А как же они там, касатики? Вдруг убьют до смерти.

- Не бойсь, баба, – щерится мужичок в ловком сюртучке, сразу видно – приказчик, и не из последних. – Убьют – так новых напечем, долгое ли дело?

Молодка смущенно опускает глаза, а приказчик торжествующе блестит золотым зубом, берет бабу под локоток и ведет за амбары. Там суетятся галки, выклевают что-то из едва пробившейся травки скворцы, и журчит, и струится, и пахнет свежим и влажным. Оно и понятно – весна.

Под Рясницей четвертую неделю шли дожди. Как зарядили, так и не прерывались, размывая окопы в грязь, пуская по перекрытиям блиндажей глиняные и песчаные реки. Раньше или позже эти реки начинали стекать внутрь, мутным и унылым водопадом затапливая землянки, размывая чернила на картах и примешиваясь к чаю, к кофе и к офицерскому табаку. Наиболее удачливые захватили местечки потеплее в деревенских хатах, а те, кто промедлил, мерзли в поле и кляли дождь, начальство и ленивых интендантов.

- Что-то будет, – многозначительно покачивал круглой головой Леська Лось.

Дослужившись до капрала, был он пожалован именной трубкой. Трубкой с янтарным чубуком, трубкой из хорошего ясеня, да не кто-то пожаловал, а Его Высочество Кронпринц Задунайско-Елисейский, собственной персоной, с пожатием руки, поцелуем в уста и торжественным хмыком. Подусники Кронпринца и прекрасные бакенбарды, от которых трепетали сердца мелкопоместных панночек в Рясницком замке, благоухали канифолью и ладаном.

- Атака будет, – ответил Йозек Затуньский.

Йозек в мирной жизни был портным и изрядным жуликом, но солдатом оказался справным. Главное, сапоги у него всегда были целы и шинель не прохудилась, а чего еще желать на фронте? В свободное время, а в последние четыре недели, когда наступление, захлебнувшись, еще не решило – стать ли ему отступлением – все время было свободным, Йозек то и дело скусывал нитку, штопая шинельки товарищей по взводу. За то благодарили его табаком, и выпивкой, и, конечно, добрым словом, которое приятно и кошке, и силезцу, и австрияку.

- Это вряд ли, – мотал башкой Лесь. – Русские-то почище нас в грязище завязли. У нас хоть за плечами деревня, а у них что? Поле и река, а река, небось, им окопы уже подтопила.

- Значит, мы наступать будем, – упрямо твердил Йозька, соскучившийся за шитьем.

- Да куда наступать? Сказано же тебе, башка дурья – река разлилась. Мост снесло, что ж ты – по воде, аки Езус Кресте, в наступление пойдешь? Нет, уж посидим мы тут, пока солнце не проглянет.

В хату вошел молодой Камышка, обтоптал о порог налипшую на сапоги грязь.

- Ну? – подался вперед Йозька.

- Баранки гну. Начальство пьет, в замке не продохнуть. Говорят, панночку подпоили и венчать взялись.

- Да с кем же венчать?

- Вот и я думаю – с кем? Кабы не с полковником нашим. Они там в штабе все такие шутники, от шуток их потом три недели затылок трещит.

Лось пожал плечами и закусил плотнее мундштук. Ему, обласканному самим Кронпринцем, шуточки начальства странными не казались. Шутят – значит, и хорошо, значит, и должно.

В замке и вправду было не продохнуть. Горничная распахнула в опочивальне все окна, но чад стоял и здесь, а снаружи тянуло промозглой сыростью, и на подоконник натекло. Панночка прилегла на кровать, прикрыла глаза фарфорово-тонкой рукой. Не осемнадцать годков уже, далеко не осьмнадцать. Натанцевалась за вечер, упиалась белых дунайских и черно-красных рейнских вин. Пропадай знаменитый отцовский погреб, все пропадай, ничего не жалко. Приподнялась, жарко открыв глаза: кажется, стучат? Нет, послышалось. Это ветер колотится в ставни, это все он, проклятый, отсюда и до Ильменской Пустоши нет ничего, кроме дождя и ветра.

- Мой милый, – прошептала пани в забытии и уронила голову на руку. – Ненаглядный мой.

Сон сморил ясновельможную пани, и вот что ей приснилось:

Обеденная зала отцовского замка, где веприные головы шерились со стен, помня зло, а олени пялились безмятежно, зла не помня – так вот, зала это стала не зала вовсе, а церковный алтарь. В душном облаке ладана вел под руку невесту статный полковник, и подусники его благоухали канифолью, а в глазах тлели угольки. Сквозь свадебную фату мир виделся смутно, и все же заметно было, что ксендз, стоящий у самого алтаря, на правую ногу хром и странно скособочен.

- Ура! – прокричали веприные головы, и олени тускло отозвались, – ура.

- Подойди ко мне, дочь моя, – ласково сказал ксендз, и оказался не ксендзом, а родным ее батюшкой, ясновельможным паном Анджеем Рясницким. – Подойди, и я вас обвенчаю.

Полковник подвел невесту к алтарю, и пара опустилась на колени.

- Властью, данной мне перед людьми и богом, отдаю я женщину эту... – начал батюшка и тут же досадливо прервался.

У правой, хромой его ноги суетился тощий человек по имени Йозек Затуньский. Хлопотал он с портновской меркой, приговаривая:

- А как же, ваша светлость, как же, ваше благородие, сапожок? Сапожок-то не на ту ногу шит, перешить бы надобно.

- Отыди, – громогласно гаркнул батюшка, и пропал рыжебородый человек с меркой.

- Властью, данной мне, – загудел вновь батюшка-ksenдз.

Витражное окно часовни разлетелось со звоном, и, с осколками и дождем, влетел в часовню человек в кожаной тужурке. В руке человека был наган, а ко лбу прилип светлый чуб.

- Нету у тебя власти, – сказал человек, направляя наган на священника. – Вся власть у рабочих и крестьян, а ты, чертяка, ступай в пекло, где тебе и место.

Грозно нахмурился батюшка, вознес ярко блестящий крест, а полковник выхватил саблю и занес над панночкой.

- Уйди, большевицкое отродье, – грянул полковник, – а не то я башку твоей невесте отсеку.

Печально посмотрел человек в тужурке на панночку, и, глядя в его смоляные глаза, панночка задохнулась и поняла: вот же он, тот самый, родней которого нет.

Вздыхнул человек в тужурке и сгинул, и снаружи затрещала, защелкала канонада, и окна часовни озарились багровым. Панночка вывернулась из-под жестокой полковничьей руки – но тот только взглянул на нее мертвым черным глазом, и сабля блеснула.

- Ах, – вскричала панночкина голова, летя по полу, рассыпая по волоску тугую косу. Брызги крови из перерубленной шеи разлетались веером, оседали на алтарь алыми бусинками.

- Ах!

Панночка воспрянула на кровати и широко распахнула глаза. Так же гудел за окнами ветер, хозяйничал дождь, и веселились внизу пьяные. Что-то будет?

В русском лагере наяривала гармоника. Какой-то весельчак нацепил на торчащее в чистом поле пугало немецкую рогатую каску, и народ теперь скоморошничал. Запевала, тот самый, вербный, чудом сохранивший в грязище хромовые сапоги и нахальную улыбку, отплясывал перед пугалом трепака.

«Как под горкой под горой немчура вставала в строй.

А им на побудке черти дули в дудки»

Из-за пугала выскочил совсем молодой парнишка и пустился рядом вприсядку, только пел уже другое:

«Не за веру и царя воевать охочи мы.

За заводы, за поля, за крестьян с рабочими!»

Кто-то ухватил паренька за плечо и втиснул в толпу. Парнишка забился в жесткой руке, и тогда тихий голос шепнул ему на ухо: "Погоди орать, не время еще". Малый поднял глаза. Над ним навис русский чуб и бледное революционное лицо того, в ком Лось и Затуньский с легкостью признали бы молодого посыльного Камышку.

*Как известно, Колобок выкатился из печи, и, напевая "Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел", выбрался за порог. Но мало есть знающих о том, куда Колобок катился. Некоторые предполагают, что, следуя заранее предначертанной судьбе и господнему промыслу, Колобок ринулся прямо Лисице в пасть. Однако у самого Колоска может быть и другое мнение.*

Между тем тот, кого мы знаем как рядового Камышку, уже выбрался из толпы и зашагал к окраине лагеря. Там, в неглубоком распадке между двух раскисших холмов, горел костерок. У костерка сидели двое. Один был лыс, в кургузом пиджачке и с бородой клинышком. Огромный и крутой его лоб так и навевал мысли о ровно пропеченном колобе. Второй, тощий, с блестящими стеклышками пенсне и острым лицом, нервно поводил носом. Рыжие волосы его намокли и прилипли ко лбу неровной челочкой. Имя человека было Ганс, хотя имя-то как раз и было в нем самым неважным. На костре кипел котелок, и тянуло оттуда вареной рыбой, луком и лавровым листом.

- Рыбачили?

Появившийся из темноты Камышка присел на корточки у костра и протянул ладони к огню. Ганс при этом нервно дернулся, а Лысый подвинулся, освобождая место.

- А то как же.

- Говорят, в дождь не клюет?

Лысый улыбнулся по-доброму.

- В дождь-то как раз самый клев и есть. Это рыбаки ленивы. Рыба же не дура – воду сечет дождем, а ей кажется, что мошкара сыпется. Вот она к самой поверхности и выходит. Тут ты ее подцепи и, главное, держи удочку крепче.

Лысый вытащил из кармана тряпицу, сыпанул в котелок соли. Потом обстоятельно порылся в полевом ранце и разложил на все той же тряпице ломти ржаного хлеба, шматочки сала, вязку усатого зеленого лука и крепенький, в пупырышках огурец. Вытянул из-за голенища ложку, зачерпнул варева, подул.

- В самый раз.

Ганс повел носом и достал из кармана фляжку, и открутил крышечку, и, взболтнув содержимое, глотнул – и по разлившейся в его чертах особой сладости сразу стало понятно, что во фляжке отличнейший коньяк. Следующим отхлебнул Лысый, потом Камышка. Вздрогнули. Закусили. И потянулся обстоятельный разговор. За шумом дождя большая часть разговора так и осталась невнятной, но ближе концу беседы дождь подустал, насупился, огорченный тем, что никто не прислушивается к его упрямому

бормотанию. Засунув руки в карманы серого своего плаща, дождь зашагал над окопами, над взрыхленной рекой, над размытой дорогой, скосбоченными хатами деревни и завис прямехонько над замком. Голоса у костерка сделались яснее. Говорил Ганс.

- Мы вам, милочка, за что платим? Мы платим вам за то, чтобы ваша огромная, бессмысленная держава перестала мешаться у нас под ногами. А вы что творите?

Лысый, без особых оснований названный "милочкой", мягко улыбнулся.

- Чрезвычайно, чрезвычайно интересная позиция. Есть над чем подумать. Мы тут с товарищем обсудим...

Взяв Камышку под локоть, Лысый отодвинулся от костра и зашептал тому в ухо. Ганс, вытянувшись, как пытаемая на дыбе цапля, так и устремился к беседующим своей челкой-хохолком, но забавник-ветер только того и ждал – и, прихватив из костра полную пригоршню золы, швырнул ее прямо в пылающие любопытством глазки рыжего. Тот заругался не по-русски, протирая очи кулаком. И расслышал он всего одно слово, и слово то было странное: "дирижабль".

*Существует мнение, что сказка про Колобка – это пересказ одного из древнейших мифов человечества об охотнике Папараши и Тигре Ваубоа. Сотворенный из глины и мочи святого прародителя Упашты охотник отправился сразиться с тигром, который воровал священных коров Упашты. Тигр, однако, оказался хитрее, и, соблазнив охотника золотом своей шкуры и хризолитом своих глаз (конечно, глупый охотник и не подозревал, что перед ним не настоящие сокровища, а кровожажущая бестия), так вот, соблазнив охотника, тигр им и пообедал. Впрочем, так или иначе, Упашта своей цели достиг, ибо тигр подавился размокшей глиной и издох.*

*Другой вариант этой истории рассказывают на горе Хиямо. Говорят, царь лисов-оборотней соскучился и решил сотворить человека себе на забаву. Поскольку же царь был занятым царем и не покидал пределов своего жилища, то о людях он имел весьма смутное представление. Взяв сухую лепешку, царь вставил в нее глаза – угольки и концом палочки для поедания риса выцарапал улыбку. Лепешка оказалась занудным собеседником (если честно, она не сказала ни слова, только глупо лыбилась нарисованным ртом), и, позабавившись с ней день и два, царь забросил ее под циновку. Да только и спать не лепешке, сухой и черствой, было совсем неудобно, и, вконец рассвирепев, царь вышвырнул ее из окна. Лепешка покатила по склону вниз. Навстречу ей брел старик с вязанкой хвороста. Увидев лепешку, тот так испугался, что уронил хворост на дорогу и помчался в деревню, рассказывая о страшном чудовище, которое выкатилось из тумана на вершине священной горы. Старик напугал своими рассказами и мужчин, и женщин, и детей, и жрецов. Жрецы же, когда напуганы, всегда поступают одинаково – так что вкатившуюся в деревню лепешку встретила процессия крестьян, и каждый нес лепешке подношения, и были там и рис, и рыба, и кувшинчики с sake, и даже мелкий речной жемчуг. Лепешка не сказала ни слова, только лыбилась нарисованным ртом, однако крестьяне приняли эту улыбку за ужасный оскал – и подхватили лепешку, и понесли ее в храм, и водрузили на возвышение, и униженно ей поклонились. Говорят, и до сих пор крестьяне той деревни поклоняются лепешке, а она лишь улыбается в ответ и не говорит ни слова.*

Отдохнув, пани Ясмина переменяла платье и спустилась вниз. На лестнице постояла перед темным, прабабкиным еще, наверно, зеркалом. На высокой шее бледно светилось жемчужное ожерелье, тоже, кажется, прабабкино.

"Теперь или никогда", подумала Ясмина. Теперь или никогда покинет она ненавистный замок, где со стен смотрят злые веприные головы и глупые олени, где в камине вечно горит огонь, по залам носятся сквозняки, а недавно скончавшийся батюшка в скрипучем кресле-качалке недовольно поднимает глаза от газеты и зыркает на взрослую дочь, да так, что сердце заходится неровным стуком.

Внизу было шумно. Слуги от такого веселья попрятались по углам, затаились на конюшне, и панам-офицерам пришлось звать солдат. Те живо сдвинули столы, освободив место для вальса и для мазурки. Оркестр на хорах, все сплошь жидки из местной синагоги, пробовал скрипки. У самой двери пани натянула на лицо сияющую улыбку и так, с неживой этой улыбкой, и вышла к гостям.

Сразу же к ней подлетел чернявый потный подпоручик с бокалом шампанского, и, заливаясь смехом, пани выпила этот бокал, мазнула перчаткой по щеке подпоручика, и ее обхватили чьи-то уверенные ладони и закружили в мазурке, ах, это дьявольская мазурка, ах, эти скрипки, смычки, жар, пот и огонь.

Француженка, сбежала в Польшу. Камышка стоял в углу зала и все пытался припомнить, где же он видел это лицо. Тогда ясновельможная пани была одета по-другому, чтобы не сказать, вовсе раздета. Тут щеки Камышки обожгло румянцем. Все же он был еще очень молод и очень чист.

- Эй, зольдат, что ты стоишь, как пень? Не видишь, благородным господам не хватает напитков. Ну-ка спустись в погреб и притащи еще вина.

Камышка спохватился и сорвался с места, так и не успев додумать: на кого похожа женщина с высокой грудью, с угольно-черными глазами, с блеском безумия в зрачках.

- Говорю я тебе, – твердил Лось, посасывая трубку. – Революция есть баба, а все бабы – стервы. Революция же стерва вдвойне, потому что дает всем без разбору, и из-за нее мужики по всему миру грызут друг другу глотки.

- А война? Война, что ли, не баба? – плаксиво поинтересовался Йозек.

От перекусывания ниток зубы его пожелтели, и на передних, кажется, даже обнаружился желобок, вроде как у ядовитых змей. Яд, правда, пока не стекал. Яд Йозек копил в себе.

- Война – баба, но честная. Она, понимаешь, не прикрывается красивым платьем и модной прической. Она тебе тычет кулаком в зубы, если ты пошел гулять с другой, или даже если не пошел гулять, просто так, для профилактики. Война всегда ждет тебя, у нее большие сиськи и большая жопа, особенно последнее. Как правило, в этой-то жопе ты со временем и оказываешься, но зато все по-честному.

По крыше барабанил дождь. Лавки отсырели, чадила копилка, и где-то за занавесками поскуливал хозяйский ребенок.

- За войной ты не гоняешься, как распаленный кочет за несущкой. Война всегда приходит к тебе и говорит: вот она я, не меня ли ты ждал? И вправду, ее.

Йозька подумал, что не стоило делиться с Лосем сливовицей. От сливовицы уши у Лося посинели, а язык развязался, и было это не к добру. И Камышка куда-то пропал – а при Камышке Лось, как ни странно, всегда держал язык за зубами. Теперь же его ничего не удерживало, и он распинался вовсю, только брызги слюны летели из трубки.

Пролетая в вальсе мимо особенно глупо плящущейся звериной морды, пани Ясмينا почувствовала на себе пристальный взгляд. Слегка отстранившись от раскрасневшегося партнера по танцу, пани обернулась. Это был ОН. Не в тужурке, а в грязной промокшей шинели, без нагана, но так же лип ко лбу светлый чуб, и так же упрямо и горестно смотрели на нее темные глаза. Он, он-из-сна – Ясмينا рванулась, но новый поворот вальса увлек ее дальше, и, когда она вновь смогла оглянуться, человека у стены уже не было. Зато подлетел к ней, по-журавлиному переставляя ноги, рослый офицер с пахнувшими канифолью подусниками.

- Пани танцует?

Ясмина прижала ладонь ко лбу, однако неудобно было отказывать офицеру, так вежливо улыбавшемуся и так приятно протягивающему руку (кто он такой? Полковник? Почему-то подумалось о Кронпринце, но никакого кронпринца не было, он был застрелен еще прошлой весной) – и со вздохом пани Ясмينا окунулась в новый танец. Партнер

прижимал ее к себе крепко, может, даже чересчур крепко. Глаза офицера горели под высоким бледным лбом, как два уголька.

- Почему пани до сих пор не замужем? Простите мое любопытство, но пани такая красавица, я смущен. Я растерян и говорю чушь.

- Нет, что вы, пан полковник (все же полковник). Вы милейший собеседник.

- Пани хочет еще вина?

Вепринные головы щурили глазки, а олени пялились открыто и бесцеремонно, как глупые слуги, привыкшие к причудам господ.

- Сколько пани лет?

Ясмина нахмурилась, с удивлением осознав, что не может ответить. Кажется, она жила в этом замке всегда.

В Европе цветок жасмина символизирует благородство, в Китае – непорочность. По друидскому гороскопу рожденные под знаком жасмина дружелюбны и общительны, но в душе пессимистичны и ранимы. Говорят, натурщицу Делакура звали Жасмин, и была она отнюдь не свободолюбивой инсургенткой, а женой мирного парижского бургера. В последнем, впрочем, я сомневаюсь

– затем, что, видите ль, свобода не графиня,

И не из модных дам,

Которые, нося на истощенном лице

Румян карминных слой,

Готовы в обморок упасть при первом крике,

Под первую пальбой;

Свобода – женщина с упругой, мощной грудью,

С загаром на щеке,

С зажженным фитилем, приложенным к орудию,

В дымящейся руке;

Свобода – женщина с широким, твердым шагом,

Со взором огненным,

Под гордо реющим по ветру красным флагом,

Под дымом боевым...<sup>2</sup>

Аккуратно, длинной стружкой высыпая на пол порох из бочонка, Камышка размышлял сразу о нескольких вещах. Например, о том, насколько подрыв замка со всем находящимся в нем командным составом Победоносной Бригады имени его Высочества Кронприца Задунайско-Елисейского соответствует краткому определению "деморализация противника". И о том, стоит ли сдать Лысого и Ганса агентам Третьего отделения, на которое Камышка работал уже больше двух лет, прямо сейчас – или все же чуть погодя, когда прояснятся детали их диверсионной активности на западном фронте. С другой стороны, возможно, имело смысл сдать агентов третьего отделения боевым товарищам Лысого и Ганса, потому как черт его знает, как оно все обернется. И о том размышлял Камышка, почему артиллеристы решили разместить арсенал в сыром замковом подвале (ну это-то как раз было понятно – любое другое место, как ни затягивай его брезентом, через несколько дней непрерывного дождя превращалось в глубокую лужу). Камышка задумчиво посмотрел на ящики со снарядами и пожалел, что захватил мало бикфордова шнура. И совсем уж в глубине сознания Камышки непрерывно ворочалась беспокойная мысль: где и когда видел он высокие груди панночки, и чистый белый лоб, и почему ему так не хотелось, чтобы эти груди и этот лоб сгнули во вспышке неизбежного уже взрыва, ведь убивал Камышка не раз, в том числе и женщин, в том числе и молодых – работа на двух столь несхожих хозяев обязывала.

---

<sup>2</sup> Огюст Барбье, "Собачий пир"

Вздыхнув, Камышка полез в карман за спичками. Коробок он предусмотрительно обмотал промасленной бумагой, и хорошо сделал, потому что после того, как он два раза за день переплывал вздувшуюся реку, одежда его насквозь вымокла – несмотря на то, что он аккуратно свернул шинель и держал над головой в правой руке, загребая левой. И дождь был хорош, и дождь помог ему, ибо как бы он иначе объяснил насквозь мокрую униформу? Камышка чиркнул спичкой, но серянка, похоже, все-таки отсырела. И пожалел Камышка о кожаной непромокаемой тужурке, хотя с чего бы о ней жалеть – такой тужурки отродясь у Камышки не было. С третьей серянки все же зажглось. Уже поднося руку к блестящему червяку шнура, Камышка вспомнил, где он прежде видел панночку – и чуть не выронил спичку.

Все было почти как во сне, и все же не совсем как во сне. Ухмыляющийся подусниками полковник-Кронпринц держал ее крепко и шептал на ухо, щекоча бакенбардами:

- Вот и попалась, птичка. Отгуляла в девках. Пора выбирать жениха.

Ясмина рванулась, но куда там. Пляшущие со стен вопри удовлетворенно хмыкнула, и Ясмина разгадала наконец-то их таинственные свиные улыбки, пугавшие ее еще в детстве – на кухне, где жар, и повара, и кипение котлов, и стук ножей о дерево.

Дверь закрыли, и со стуком упал тяжелый засов. Гости подступили ближе: военные в древних камзолах и ржавых доспехах, диктаторы в пыльных коронах и с синими пятнами от отравившего их некогда яда, пузатые торгаши с цепями из нечистого золота на выпятившихся брюхах. Попалась, птичка. Ясмина рванулась еще раз, но полковник-Кронпринц дернул ее за руку и прижал к себе.

- Куда? Ишь, верткая. А ну-ка давайте фату.

Тринадцать маленьких мартышек в золотых коронках резво подбежали по полу. В лапках они держали кусок ткани, прорванной, обугленной, в пятнах пороховой копоти, и непонятно, какого ткань была некогда цвета. Но из угла выскочил резвый человечек с портновской меркой, покрутил ткань так и сяк, обмахнул – и старая тряпка засияла белизной. Вынув из петлицы букетик жасмина, человечек приладил его к фате и сгинул, как не бывало.

- Священника сюда!

Кресло у камина дрогнуло. Раздались неровные шаги, постукивание по полу то ли деревяшки, то ли кости.

- Отец! – простонала Ясмина, вырываясь из последних сил. – Отец, сделайте же что-нибудь. Они меня мучают!

Пан Рясницкий усмехнулся, обнажая неровные зубы.

- Отец?

Старый бес покачал головой.

- Долго же ты соображала, дочка. Задурить тебе голову было легче легкого, но нынче не те времена. Спрятать свободу – это вам не жернова ворочать на старой мельнице, эта работа позаковыристей. А я устал, да и холодно тут у вас. Уж разбирайтесь как-нибудь сами.

Он порылся в кармане, достал серебряную табакерку и взял щедрую понюшку табаку. От чиха его содрогнулись стены и спали последние покровы, и стало ясно, что замок – уже и не замок вовсе, а что – непонятно. Ясмине сделалось по-настоящему страшно. Но еще страшнее стало, когда Кронпринц с подусниками твердо ухватил ее под руку и потащил к алтарю.

Камышка соколом взлетел по лестнице, и все же опоздал. У дверей замер угрюмый часовой, усы – точь в точь как у незабвенного императора на фотографии, в руках – винтовка.

- Вино, – задыхаясь, выпалил Камышка и сунул часовому под нос пыльную бутылку.

- Не велено, – угрюмо буркнул часовой и заслонил дверь.

- Это как же не велено, – ласково пробормотал Камышка.

- Кем это не велено? – вонзая часовому пальцы прямо под подбородок, где быстро и яростно бился пульс.

Когда солдат обмяк, Камышка опустил его на пол и толкнул дверь. Заперто, и заперто так хорошо, что отопрешь разве что взрывом. А этого-то Камышке как раз и не хотелось. Чертыхнувшись, он ринулся по лестнице вниз и выбежал во двор.

Скрипочки на хорах играли что-то церковное. В дымном свете выступал к алтарю полковник, и влеклась за ним белым барашком невеста. Барашком потому, что упиралась изо всех сил, так, что полковник даже вспотел от усилия. Наконец он подтащил девушку к алтарю и толкнул на пол, и сам опустился на колени рядом.

Батюшка-бес почесал темя, откуда отчетливо уже и откровенно лезли небольшие острые рожки, извлек из кармана потрепанный томик и затянул:

- Властью, данной мне...

Ясмина отчаянно оглянулась на окно часовни. Сейчас, подумала она, ну вот сейчас. Сейчас влетит избавитель с наганом. О страшной развязке девушка старалась не вспоминать. Секунды текли, но ничего не происходило. Рядом заворочался полковник, дернул ее за фату, и Ясмина невольно прислушалась.

- Согласен ли ты взять эту женщину в жены, любить ее и...

- Да, согласен! – резко каркнул полковник. – Поторапливайтесь, время уже на исходе. Скоро полночь.

- Согласна ли ты...

С последним вздохом Ясмина отвернулась от окна. Он не прилетел. Может быть, и к лучшему, подумала она, невольно шевеля губами вслед за службой и готовясь уже произнести "да" – и тут, оборвав скрипичный визг на самом высоком, самом тонком аккорде, раздался звон разбиваемого стекла.

Дождь залепил глаза Камышке, как залепляет метко брошенный сорванцом снежок. В этом снежке оказалась вдобавок здоровенная каменюка, и Камышка не сразу сообразил, что пошел град. Градины размером с голубиное яйцо отскакивали от брусчатки двора, лупили по крыше конюшни и по лафетам недавно доставленных пушек. Бил град и по чему-то еще, по чему-то, добавляющему к мелодии дождя басовые барабанные ноты – и, приглядевшись, Камышка заметил висящий над воротной башней темный силуэт.

- Правильно, – сказал Камышка. – Дирижабль. Как я мог о нем позабыть?

Стекло разлетелось, и в проем всунулась тупая безглазая морда. Ясмина завизжала, и только спустя несколько секунд сообразила, что это разведывательный дирижабль – разведчики на время дождя разместили его в замке, чтобы спасти от русских диверсантов. Морда качнулась, поднатужилась, окончательно выдавливая стекло и пропихивая в зал корзину. В корзине стоял человек. На нем не было кожаной тужурки, зато в руке был самый настоящий наган.

- Всем стоять, – тихо сказал человек.

Сзади стукнуло – это ксендз-нексендз уронил молитвенник. Полковник рядом с Ясиной вскочил и выхватил саблю. Ухватив жестокой рукой Ясмину за волосы, он проревел:

- Не подходи, зарублю!

Человек пожал плечами и выстрелил. Голова полковника разлетелась, как спелая слива, и Ясмина дернулась, когда теплые ошметки ударили ее по щеке. Человек выпрыгнул из корзины и подбежал к Ясмине. Упав рядом с ней на колени, он просипел:

- Пани, вы не ранены?

Она молча покачала головой. Ей не хотелось говорить, хотелось лишь смотреть в темные, в смоляные глаза, так похожие и так не похожие на глаза полковника. Она и смотрела, смотрела, не отрываясь, пока человек подхватывал ее на руки и забрасывал в корзину, и заскакивал сам, и что-то делал со сложной машиной, выпускающей тонкую огненную струю, и когда они полетели – и только когда позади рвануло, и корзина закачалась, и по оболочке шара застучала каменная дробь – только тогда она оглянулась. Замок горел.

Лось и Затуньский выбежали на улицу, и, приложив руки к глазам, смотрели на пожар. Грохнуло так, что у хаты чуть не снесло крышу. Хозяйский младенец, до этого непрерывно скуливший, замолчал, будто подавился материнской титькой. Огонь озарил полнеба. В грязь рядом с солдатами шлепались обломки, и еще что-то шлепалось, что-то, что вполне могло быть останками полковника и его свиты.

- Ну вот и все.

Насмотревшись, Лось вернулся в хату и аккуратно принялся упаковывать в ранец трубку и прочие пожитки.

- Это ты куда? – недоуменно вякнул Йозька.

- Это я домой. Маринка, небось, уже всю улицу через себя пропустила. Я не я буду, если не спущу с потаскухи шкуру.

- Тебя же, того... искать будут?

Лось хмыкнул.

- А кто докажет, что меня не было там?

Он ткнул пальцем на все еще разваливающийся замок.

- Ты, что ли?

И глянул при этом на Йозьку так, что тот почувствовал себя янтарным мундштуком, зажатым между крепкими лосиными зубами.

- Я что, – вякнул бывший портной. – Я ничего.

- Вот и хорошо, что ничего.

Йозька подумал, не это ли называется "деморализацией противника".

Пожар проел в ночи дыру. В дыре бушевал новый, яростный и светлый, свободный от дождевого сумрака мир. А здесь за цветистым заревом уплывала в небо длинная тень. Она двигалась, уверенно и плавно, туда, где всего через семь часов загорится бледная полоска рассвета.

2007

## ПРОГУЛКА К АЗАЗЕЛЮ

*- Итак, наступает десятый день месяца Тишири. Открываются врата храма, и перед первосвященником – допустим, Аароном, наверняка Леви или Коэном – предстают два, прошу прощения, козла. Два равно вонючих бородатых желтоглазых козлищи из одного и того же загона. Первосвященник бросает жребий, и того козла, который – согласно результатам жеребьевки – угоден Богу – этого козла уводят и готовят к жертвоприношению. Грубо говоря, счастлиwickа зарезут и кровью его окропят алтарь, ну а мясо, натурально, съест тот самый Леви или Коэн. Судьба его брата более интересна. Следует начать с того, что Богу он, видимо, не угоден. Здесь я отвлекусь на мгновение, чтобы провести странную аналогию, к которой впоследствии еще намерен*

вернуться. Итак, мы имеем одного козла, угодного Господу, и второго, Господом отвергнутого. Первый козел немедленно и неизбежно отправляется на убой. Тебе это ничего не напоминает? Правильно, Авель. Бедняга Авель, кстати, первый в истории козопас, приглянулся Создателю и не замедлил к нему присоединиться. Если обратиться к Новому Завету, и, особенно, к апокрифам, история покажется еще более интересной – но об этом позже. Пока вернемся ко второму козлу. Сие не приглянувшееся Всевышнему животное и станет тем самым пресловутым "козлом отпущения" – на него символически возложат все совершенные за год грехи народа израильского и прогонят в пустыню. То есть даже не просто так прогонят, а весьма конкретно принесут в жертву древнему демону горячих песков Азазелю. Прямо по поговорке: и Богу свечка, и черту кочерга. Повторюсь: одного козла – Яхвэ, другого – Азазелю. Чтобы козел как-нибудь не избежал своей горькой участи, хитрые израэлиты весьма несимволически сбрасывали бедное животное со скалы, именуемой, между прочим, тоже Азазелем. Однако, если оставить эти бытовые детали и углубиться в метафизику козлиного странствия, картинка получается довольно занимательная. Итак, его злосчастного брата милость Господня поразила прямо не отходя от кассы, а вот второй козлина отправляется в пустыню. Заметим – путь его полон опасностей. Ничего надежного не осталось в мире. Раньше был пастух, и загон, и теплая козочка под боком, и обеспеченное будущее. Теперь имеется лишь он сам и пустыня. И, не забываем, возложенный на него груз человеческих грехов. Даже если не тащить беднягу на скалу, и так понятно: подвернется нога, соскользнет копыто, и без всякой помощи загремит он в пропасть, или сдохнет от жажды и голода, или поймут его и сожрут разбойники, или укусит его ядовитая змея, зажалют слепни, спалит солнце. В сущности, самый безопасный, самый надежный, самый проверенный и предсказуемый путь для него – к той самой скале Азазель. Вон уже и тропинка протоптана предшественниками, не так страшно оступиться, да и финал, пусть неприятный, известен заранее. А какой козлу еще финал? Все его собратья по загону, раньше или позже, человечесьей или божьей волей, а окажутся под ножом умелого мясника – вверх ногами и с перерезанной глоткой, чтобы кровь стекла и мясо не утратило кошерности. Беги, козел, спеши к Азазелю... и вот тут-то и выходит заминочка. Ведь кто такой Азазель? Согласно книге Еноха, один из мятежных ангелов, входивших к дочерям человеческим. За что, отметим, и был прикован к скале посреди – ну, правильно – пустыни. Итак, Азазель прикован к скале. Помысли ли о жертвенном козле занимают его? Нет, он больше, вероятно, беспокоится о собственной печени, которую методично клюет орел. Или, если предположить, что в какой-то момент Азазеля посещают мысли о будущем (орлу ведь надо и отдохнуть), он в деталях представляет себе ожидающее его адское пламя и пытается сравнить грядущий жар с беспощадным огнем средиземноморского солнца – лучше ли, хуже? Азазелю на козла плевать. Бедное животное растеряно, как же так – он шел на убой, а попал... да куда ж он, прости Господи, попал? Ни священника, ни пастуха, ни мясника с ножом, никого, кто мог бы доходчиво объяснить козлу дальнейшую его судьбу – только угрюмая пустыня, да этот на скале со своим орлом. Кажется, Азазель еще принес людям огонь и ремесла, за что те отблагодарили его, окрестив демоном и приковав к скале. Люди не терпят самостоятельности, ну вот прямо как этот козел, которого ткнули мордой в неказистую пустоту его существования – ступай мол, тварь, куда хочешь. И даже нельзя сказать "Бог с тобой", потому что Бог не с тобой – он с тем, вторым, кровью которого вымазан алтарь, а с тобой только знойный ветер пустыни да тени таких же неприглянувшихся Ему изгнанников. Правильно, Каин. Каин был первым, кто в полную силу осознал всю горечь изгнания, изгойства как наказания. Затем в ту же пустыню удалился Исмаэль. Затем был Агасфер. Вечный Жид. Скиталец, Ударивший Бога. Тема изгнания развивается с веками; изгнание и наказание неразделимы и сопутствуют друг другу; они, в сущности, тождественны. Вон из морского тумана выплывают мачты-скелеты и ключья парусов "Летучего Голландца", и капитан его Ван Дейк стоит на

мостики, приложив истлевшую ладонь козырьком к глазам – не видна ли земля? Нет, не видно земли. Вечное странствие как искупление за грех: сейчас, впрочем, вполне конкретный грех, а не абстрактные грехи какого-то там израильского народа, вполне конкретный капитан – вон, и бортовой журнал его судна продается на аукционе в Сотби... Однако, пардон, как попал к ловким держателям аукциона этот журнал? Ах, почта с корабля-призрака была доставлена экипажем "Мариэтты"? И как поживает капитан Дейк? Да неплохо поживает, работает не за страх, а за совесть. Работает? Кем же работает, пугалом в Диснейлендовском аттракционе? Вовсе нет, работа тяжелая, но нужная – переправляет души утопших моряков на тот свет. Впрочем, и зовут его, кажется, не Ван Дейком уже, а Дэви Джонсом, *it rings the bell...* Да, милый мой, наказание постепенно превращается в служение, но и этим дело не ограничивается. Потому что в какой-то момент неизбежно со дна океана всплывает "Черная Жемчужина" и – откуда ни возьмись – ее беспокойный капитан. Зовут его, допустим, Джеком Воробьем, и мечтает он об абсолютной свободе. А что есть абсолютная свобода? Правильно, вечное странствие, не связанное точкой назначения, необходимостью причалить в ближайшем порту для пополнения запасов пресной воды, или даже картой морских и воздушных течений. Если Джек Воробей нам не мил, вспомним о скитальце Улиссе, миф которого был безнадежно искажен сентименталистами последующих веков, о Синбаде-мореходе, о звездных одиссеях в литературе двадцатого столетия. Наказание, превратившееся где-то на полдороге в служение, оборачивается даром. Даром Азазеля людям...

- Даром. Понятно. Ладно, хватит выворачивать вещи наизнанку, старый казуист. Не считайте меня совсем уж идиотом.

- Между прочим, если припомнить первоначальное значение слова "казуист" – это тот, кто через частное пытается вывести общую закономерность. Так что, пожалуй, я и вправду старый казуист – ибо что есть история, как не скопление частных случаев?

- One, two, buckle my shoe  
Three, four, shut the door  
Five, six, pick up sticks  
Seven, eight, lay them straight  
Nine, ten, a big fat man  
Eleven, twelve, dig and delve...

Макс заметил, что вместо привычного "hen" в предпоследней строчке Чарли сказал "man", и это навело его на определенные мысли – которые, однако, сейчас не было времени обдумать. Раздался резкий "БАНГ", и щеку Макса обрызгало теплым и красным. Стоявший рядом на коленях Расти как-то странно всхрипнул и без слова повалился на доски. Он, определенно, был и велик, и жирен, и копать теперь придется изрядно. Если, конечно, Чарли не решит сплавить труп в реку. Чарли, между тем, снова перевел дуло пистолета на Макса. Дуло было большим и черным и смотрело Максиму прямо между глаз своей дырой, похожей на распахнувшийся в бесконечность люк. Впрочем, времени для романтических ассоциаций не оставалось. Чарли прижал пальцем спусковой крючок и небрежно выдул "пуф", при этом смешно прищлепнув губами. И опустил пистолет. Вместе с пистолетным стволом опустилось и что-то в животе Макса, до того резко ухнуло вниз, что он испугался – как бы не замочить штаны. Описался от облегчения. Расхожая фраза, а до чего верно передает суть.

- Вижу, ты расслабился, канарейка.

Чарли всех называл канарейками, что с его жутким кокни звучало похоже на имя известного актера Шона Коннери. Было в этом что-то мрачно-ироническое, учитывая, что на агента 007 Макс сейчас никак не тянул.

- Зря. Потому что счастливчик на сей раз жирный, а не ты.

Жирного, то есть Расти, уже ловко паковали в пластиковый мусорный мешок и в багажник джипа. Чарли между тем порылся в кармане и извлек пачку сигарет. Он протянул ее Макс с добродушной улыбкой. Чарли вообще часто и добродушно улыбался. И это было обидно, потому что Макс Чарли всегда казался неумело слепленным китчем, гай-ричевской пародией на лондонского гангстера, которую совершенно невозможно воспринимать хоть с малейшей долей серьезности. Однако вот пистолет у Чарли в руке был не из киношного реквизита, и пули – настоящие, и труп Расти в багажнике – тоже настоящий.

- Закуришь?

Макс кивнул. Чарли всунул ему сигарету между зубами и щелкнул крышкой зажигалки. Макс затянулся.

- Эй, снимите с канарейки браслеты.

- Канарейкам, – добавил он, доверительно пригнувшись к лицу Макса, – браслеты вообще не положены. Им положено конопляное семя. А ты знаешь, что конопля – это и есть натуральный канабис? Представляешь, такая махонькая певчая птичка, а уже торчок. Смешно?

Смешно Макс не было, но он послушно ухмыльнулся. Сигарета чуть не вывалилась из зубов. Сзадибрякнули наручники, и Макс ощутил, что запястья его свободны. А вот схватить бы эту плоскую харю за шиворот и мордой приложить о коленку, мечтательно подумал Макс. Стоящие сзади, похоже, о таких его мыслях догадывались, потому что в поясицу несильно, но болезненно ткнули носком ботинка. Макс поднялся с колен и размял запястья.

Заброшенная стройка тянулась на задворках приречных складов. Вдалеке, у пустой парковки, горел одинокий фонарь. Ветер с реки был холоден и нес сырость; клочки тумана проплывали мимо фонаря маленькими бездомными призраками. Темнело здесь рано и надолго.

- Понимаешь, – сказал Чарли, который уже докурил свою сигарету. – Лео любит, когда о таких... незадачах ему рассказывают лично. Забавный он мужик, Лео. Вот мы толчемся, суетимся тут, друг друга мордуем, а он сидит на своей вилле и тянет шерри-бренди. И смотрит на закат. Хорошо? Я бы не отказался. Так вот, ты поедешь к Лео и лично – лично, понимаешь? Лично, это значит, как вот я сейчас с тобой – так ты, канарейка, расскажешь ему, куда подевались двадцать фунтов товара. И что он с тобой после этого сделает – это уже, как говорится, чисто в божьих прописях. Ну, хоть на море полобуешься напоследок, пальмы там... В Греции пальмы ведь есть? Ты в колледже учился, вот и скажи – есть в Греции пальмы?

- В Греции есть все, – мрачно ответил Макс.

Чарли посмотрел на него подозрительно.

- По-моему, ты пиздишь. В Греции пальм нету. Ну да это неважно, потому что вряд ли Лео пригласит тебя на прогулку, где вы будете любоваться пальмами. Скорее, он сдерет с тебя живьем шкуру и завернет в нее букетик для твоей тетушки. Чтобы старая кошелка не тратилась на похоронный венок. Или, может, pošьет себе чехол на пианино.

- А Лео играет на пианино? – невинно спросил Макс. Вопрос был и вправду невинный, по сравнению со вспыхнувшим в его голове предложением о том, на что еще Лео может пошить чехол.

Чарли моргнул.

- Ты че, шутишь, что ли? Лео играет в гольф и раскроит тебе череп клюшкой, после того, как переломает руки, ноги и член.

Максу было отлично понятно, отчего Чарли так беспокоится и почему старается скрыть беспокойство за потоком дурацкой болтовни. Если взглядеться в историю с двадцатью фунтами товара и их мистическим исчезновением попристальней – а у Лео вполне могло возникнуть такое желание – Чарли выходил из мутной темзенской водицы отнюдь не чистеньким. Грязнее грязи. Охотней всего Чарли прервал бы цепочку

ответственных за происшедшее прямо здесь, на стройке, однако – вот незадача – тогда подозрения Лео укрепились бы еще больше. Будь, с другой стороны, Чарльз Кемпбелл поумней, он бы постралялся задобрить Макса. Обещать деньги если не ему (на что покойнику деньги?), то хотя бы его семье за замолвленное доброе словечко. Или, точнее, за незамолвленное злое. Хотя, опять же, какая у Макса семья? Разве что та самая сумасшедшая тетка в Кенте, которой он звонит раз в два месяца. Остается Юлька, но с ней все сложно... Так что, может, и правильно Чарли потеет и разоряется, выплескивая накопившийся страх. Может, ничего другого ему не осталось.

Сейчас Чарли снова залез в карман плаща и принялся там рыться, напоминая толстую крысу, копающуюся в гнезде. На свет божий он вытащил, однако, не изгрызенное печенье и не птичью косточку, а бумажку с адресом. А что, если я отнесу этот адрес в полицию, подумал Макс, вот прямо отсюда пойду и отнесу – но мысль была праздной и быстро улетучилась. Вместо этого он разгладил бумажку и взгляделся в кривули чарлиного почерка. Представилось, как Чарли, не привычный к стилю, старательно выводит этот адрес, боясь перепутать буквы. Знал ли он, кому вручит бумажку? Трюк со считалкой был довольно дешевый, да еще этот big fat man. У Расти бы хватило глупости сбежать. Глупости, безбашенности – того, что начисто отсутствовало в Максе и за что он любил Расти. Теперь Расти был мертв и упакован в багажник джипа, чтобы вскоре отправиться в недолгое плаванье по низовьям Темзы, а Макс смотрел на точный адрес того места, где предстояло умереть ему.

*Ано-Мера, Миконос, Греция.*

Точный адрес?

– Ано-Мера? Это что?

Чарли потер плохо выбритую челюсть.

– Деревня. Да там домов десять, небось, все друг друга знают. Спросишь, где вилла Лео Каракиса – покажут. На всё про всё у тебя два дня.

– А если меня там через два дня не будет? – спросил Макс.

Спросил просто так, чтобы позлить Чарли. Однако тот даже не разозлился.

– Будешь, канарейка. Будешь.

Попетляв между складов и пройдя задворками госпиталя, Макс вышел к реке. Как раз здесь кончалась усаженная платанами набережная: набережная с именными скамейками, Биг Беном и желто подсвеченной тушей Вестминстера, набережная, где на загаженном бензином и детергентами мелководье плавали безразличные к городскому шуму толстые черные утки. Макс повернул налево, и, засунув руки в карманы плаща, зашагал к центру. Накрапывало. Обычно Макс сидел бы в такую погоду дома или в пабе, да, пожалуй, в пабе, где Расти жадно поглощал бы пиво и болел за футболистов на экране. Он был фанатом Челси, Расти, и, сколько Макс не убеждал его, что клуб безнадежен, веры своей не утрачивал. Расти. Жирный рыжеволосый Расти – кличку ему и дали за цвет шевелюры. Везунчик Расти, которому фарт шел во всем, кроме футбольных ставок. Вот именно что везунчик. Макс остановился у парапета набережной и попробовал плюнуть в утку. Плевков не долетел и шмякнулся на гравий, или что там за дрянь была понамешана внизу. Не плюй в утку, пригодится. Когда город сравнивает с землей землетрясение или ядерный взрыв, аборигены смогут питаться этими утками. При условии, конечно, что они – и аборигены, и утки – выживут. Аборигены будут плести сети и красться по болотистой низине, из которой нелепым фаллосом высунется макушка Биг Бена, на то он и Биг, на то он и Бен... Кончай думать о всякой херне, сказал себе Макс. Ты всю жизнь тратил время на херню, занимался херней и забивал херней мозг, поэтому и очутился в теперешней заднице. Попробуй хотя бы два оставшихся дня подумать о чем-то стоящем. Вопрос в том, о чем. Макс тяжело навалился на холодный камень парапета. Камень уперся ему в грудь. Так, наверное, давит земля на тех, кто лежит в могиле. Макс плотнее сжал кулаки в карманах и нажал сильнее, до того, что перехватило дыхание. А так, наверное, чувствуют

себя те, кто тонет – кто пытается страшным усилием напрячь грудные мышцы, чтобы захватить глоток воздуха – но дышит только водой...

В кармане брякнул мобильник. Макс вытащил трубку. На экранчике определился номер. Юлька. Вот ведь черт, он же просил ее сегодня не звонить. Мобильник верещал, и Макс нерешительно занес палец над кнопкой "ответ". В этот момент телефон заткнулся, напоследок выкнув сигналом автоответчика. Макс пожал плечами, и, не проверяя сообщения, сунул трубку в карман.

Юлька. Надо с ней повидаться, надо бы, надо ли? Nice girl. Милая девочка, так, кажется, по-русски. Мать Макса была из семьи российских эмигрантов. Это всплыло в разговоре только на втором месяце знакомства с Юлькой, так же как и то, что он неплохо понимает русский. Юлька, кажется, обиделась – мол, заставил меня язык ломать нарочно, чтобы показать свое нордическое, островное свое превосходство над бедной славяночкой. А Макс просто не подумал. Не подумал, и все.

Юлька. Она из всех силенок тянулась за дочками русских нуворишей, которых полно было в Кингс Колледже, но Макс знал, что родители ее инженеры, а сама она подрабатывала до их знакомства в Пицца Хат. Потом как-то так получилось, что за все – включая юлькину комнату – платил Макс. И опять Юлька обижалась, мол, я тебе не девочка на содержании, но от денег напрямую и не отказывалась, и опять Макс чувствовал себя дураком. Вот что характерно. С ней он всегда и везде чувствовал себя неловким дураком, хотя с англосаксонскими – да хоть с австрало-африканскими девчонками – ему было легко и просто. Разница менталитетов, с важным видом объясняла Юлька, дельфин мол с русалкой и раскосый скиф с блондинистым викингом не пара. Насчет скифа и викинга Макс был согласен, потому что однополая любовь его не впечатляла – однако вот мать с отцом уживались неплохо. Надо бы позвонить Юльке и пригласить ее в ресторан, что ли. В какую-нибудь "Пальмиру-на-Темзе" на границе Воксхолла и Брайтона, где подают блины с икрой и по четвергам поют цыгане, а в остальное время играет траченный временем пианист, и где после полуночи на стоянке негритянские подростки грабят окосевших клиентов. Тут Макс представилось, как Юлька напряженно елзит вилкой по тарелке, не решаясь завести Главный Разговор: съехаться им наконец или совсем разбежаться? И отдувает челку над серьезным и гладким лбом. И как Макс говорит ей: "жди меня, и я вернусь, только очень жди". Нет, лучше "прости, любимая, так получилось". Последняя фраза заставила его фыркнуть, и он решил не звонить Юльке. Пусть брякнет еще пару раз на трубку, убедится, что абонент недоступен, и забудет о нем. И вернется в Россию или уедет в Канаду, о чем упоминала пару раз, и будет несомненно и непременно по-глупому счастлива.

Макс отвернулся от парапета и решительно зашагал к галерее Тейт. Неподалеку от нее был любимый паб Расти. Где ж еще помянуть друга, как не в его любимом пабе?

У входа в паб курило и зыбко поеживалось несколько мужиков в рубашках. Спускаясь по лестнице, Макс мимоходом пожалел о тех временах, когда паб был настоящим пабом, где от табачного дыма слезились глаза и першило в глотке. Сигарета и стопка виски, много сигарет и много стопок виски – вот что сейчас было необходимо Макс. И, желательно, одиночество где-нибудь в углу рядом со стойкой. Планы его, однако, разлетелись вдребезги, не успел он как следует взглянуться в шумный полумрак. От стойки Макс махал Шимшон.

Шимшон казался порождением прошлого, одинокой окаменелостью, вынырнувшей из тех времен, когда поэты и художники ходили по преимуществу в растянутых свитерах или пиджаках с заплатанными локтями, предпочитали Нью-Йорку Париж, много спорили о супрематизме и Че Геваре, и когда водки было больше, чем кокаина. Шимшон до сих пор носил растянутый свитер, для равновесия еще и заплатанный на локтях. С Максом Шимшон познакомился через Юльку, которая, перед тем как перейти на дизайн, полгода ошивалась на факультете живописи. Видеть Шимшона Макс сейчас никак не хотелось,

но игнорировать старика можно было с тем же успехом, как забравшегося тебе прямо в ухо скорпиона. Вдохнув, Макс протолкался к стойке и заказал два пива. Шимшон радостно повел кустистыми бровями и припал к бокалу, украсив усы и бороду обильной пеной. Выдув половину одним глотком, он передохнул и уставился на Макса маленькими умными глазками.

– А Расти где? Вы же вечно вместе. Не понимаю, что вы, Максим, делаете в компании этого полудурка.

– Расти умер, – печально сказал Макс.

– Ох. Извините. Как же так? Он ведь совсем мальчишка. С сердцем что-то?

– Скорее, с головой, – ответил Макс, вспомнив "БАНГ" и брызнувшее на щеку теплое и красное.

Какого черта, подумал Макс. Почему бы мне не рассказать все этому сумасшедшему старику? В конце концов, исповедовались же люди тростнику и канализационным люкам. Особой необходимости исповедаться Макс не чувствовал, но и слушать гордый рассказ Шимшона об очередной устроенной им инсталляции концептуалистов не было сил. И Макс рассказал.

В продолжение рассказа Шимшон хмурился, глотал пиво и фыркал пеной. Рассказ, как ни странно, вышел совсем недолгий. Говоря о себе как о ком-то малознакомом и, в сущности, ему безразличном, Макс думал: почему мы так долго и упоенно треплемся о пустяках, а самое главное в жизни укладывается в пару слов? "Расти застрелили", "я расстался с Юлькой", "мои родители разбились на машине" или, к примеру, "Бога нет". А если и есть, то он, Бог – старая сволочь или выживший из ума маразматик, ничем не лучше этого бородача.

Когда Макс замолчал, Шимшон махнул рукой бармену.

– Два виски.

И, прежде чем Макс успел среагировать, заплатил – хотя, сколько Макс его ни помнил, даже за собственную выпивку представитель богемы не расплачивался никогда. Пока младший отходил от шока, Шимшон выхлебал свое виски и сказал:

– Знаете, Макс. Я не хотел вам говорить, но, с некоторой стороны, это даже и хорошо...

– С какой еще стороны? – удивленно спросил Макс.

– А вот послушайте. У нас, я имею в виду, иудеев, есть такой забавный праздник...

Когда Макс вышел из паба, он почувствовал странное успокоение, как будто болтовня старика и вправду что-то ему объяснила или с чем-то примирила. По крайней мере, это было всяко лучше возможного разговора с Юлькой: та принялась бы плакать и упрашивать, и пришлось бы ей объяснять, почему он не может сбежать в Тунис или в Монголию, и что дело не только и не столько в кентской тетке или даже в ней, в Юльке, которых найдут (как и его, несомненно, найдут через пару месяцев), а просто потому, что... Шимшон, по крайней мере, понял, что никакой Монголии тут не возможно, кроме внутренней Монголии, которая широка, пустынна и которой совершенно безразлично, сколько дней, часов и минут осталось до смерти ее хозяину.

Мужики у входа куда-то подевались – наверное, пошли допивать пиво и досматривать матч. Макс задрал голову. "Мне приснилось небо Лон-до-наааа", как завывала любимая Юлькина певичка на затертом диске. Небо Лондона было низким, тяжелым и подсвеченным оранжевым, как, вероятно, и небеса других больших европейских городов, и каким никак не могло быть небо над маленьким греческим островом.

В аэропорту, в ожидании рейса, и в самолете Макс напился так, что очухался уже на туманном и промозглом рассвете неподалеку от Пирея. Туман, впрочем, быстро рассеялся, и над городом поднялось такое нежно-розовое, словно миндальное пирожное, солнце, и

мазнуло такой чистой краской по воде, и высветило такие белые дома и корабли, что Макс решил не спешить. В конце-концов, у него было два дня. Два дня для современного туриста – это очень много. За два дня можно осмотреть всю Европу и чуть ли не половину Азии. Придерживая рукой тяжелую голову, Макс нырнул в странную афинскую подземку, где не брали плату за вход и которая оказалась и не подземкой вовсе, а бегущей через весь город электричкой. В этот ранний час народу в вагоне было как в бочке сельдей, они громко переговаривались (Макс узнал русские слова и хмыкнул – вот вам и английский как всемирный язык), они толкались, они, наконец, пахли, и гудящая с перепоя голова Макса и висящий свинцовым комом желудок чуть не довели его до ручки.

Солнце блестело на стеклах и пыталось пробиться сквозь жалюзи, уже ослепившие окна домов. Хозяйки выбивали половики на балконах, прямо над ящиками с фиалками и гортензией, попукивали выхлопами легковушки, тощие коты провожали электричку настороженными взглядами с крышек мусорных баков. Выскочив на последней станции перед Акрополем, Макс сразу окунулся в многоязычный говор Плаки, пыльной, тесной, многоцветной, с уличными кафешками под зелеными тентами и слишком многочисленными лавочками, заваленными дешевыми сувенирами. Макса начал охватывать почти трансцендентальный ужас, столько кругом было народу и так плохо было у него на душе и в кишках. Отерев пот со лба, он скинул плащ и быстро зашагал вверх по холму. Мощеная булыжником улица тянулась вдоль крутого склона, и наверху, над зарослями сухой и желтой травы, виднелись портики и колоннада какого-то храма. Макс поспешил к кассе и – скорей, скорей, лишь бы выбраться из этой толпы – заплатил требуемую сумму в евро, а сзади гудел раздраженный голос американца, сетовавшего на то, что, мол, раньше в драмах было на порядок дешевле – но Макс уже взбежал наверх и там, наверху, наконец увидел огромный лик Парфенона. Усталому путнику храм показался скелетом гигантского доисторического кита, выброшенного на вершину горы волнами потопа. У выбеленных временем ребер гиганта фотографировались туристы, которые отсюда казались не больше муравьев. Эти насекомые кишели повсюду, щелкали, щебетали, карабкались на высохшие кости, будто надеялись урвать сохранившиеся клочки мяса. Или, подумал Макс, никакой это не кит, а еще не достроенный Ноем ковчег, и людишки торопятся занять очередь за билетами в третий класс. Он развернулся и зашагал сам не зная куда, лишь бы подальше от суеты.

Под обрывом раскинулся большой сад, тоже под завязку забитый храмами и статуями: можно было подумать, что греки предвидели закат своей культуры и лихорадочно пытались оставить по себе память в осколках грязного мрамора. Ниже по склону было не таклюдно – и, пробившись сквозь заросли чего-то хрусткого и колючего, Макс вышел к большому плоскому камню. Он вскарабкался на камень, бросил плащ и вытянулся на спине. Поверхность валуна уже успело раскалить утреннее солнце, но внутри известняк был холоден, как и тысячелетия назад. Бледное небо вытянулось над Максом аркой вселенского собора. Внизу шумел и дышал бензином миллионный город, внизу лениво ворочалось самое синее в мире море, а здесь, на высоте, было спокойно и тихо. Только ветер посвистывал в сухой траве и зонтиках желтоватых соцветий, ветер, который ощущали на своей коже поколения скитальцев, топтавших эту горькую и соленую землю, ветер, не имеющий имени. В такой вот прозрачности и рождаются боги, думал Макс. Здесь, где нет ничего, кроме камней, травы и ветра, здесь им самое место – может, они и не уходили отсюда никогда, и лишь голоса их заглушены гомоном толпы и щелчками фотокамер. Если остаться тут надолго, ветер выдует все лишнее. Тело станет прозрачным и невесомым, так что на камне удерживать его будет лишь черный гуттаперчивый мячик души. А потом и мячик ускорится прочь – и воздушный поток унесет тебя... Макс закрыл глаза и уже уплывал в небытие, когда в кармане плаща резко заорал мобильник. Макс неохотно вытянул руку и поднес трубку к уху.

– Максимилиан!

Взволнованный голос в трубке принадлежал кентской тетушке.

– Ну что же ты, мальчик, не звонишь месяцами, я вся изнервничалась. У вас в Лондоне бог знает что творится. С тобой все в порядке?

– Да, – вяло откликнулся Макс, – со мной все в порядке, тетя.

– Ох, а я смотрю новости и каждый раз сердце заходится. Ты хотя бы нормально питаешься? Я знаю вас, с этой студенческой бродячей жизнью ты совсем испортишь себе желудок. Ты ешь супы?

– Да, тетя, я ем супы, – послушно сказал Макс.

– Надо есть жидкое, а то будешь, как я, на старости лет мучиться. Вот твой дядя...

Тетка долго еще рассказывала о дяде Анатолии и каких-то других родственниках. Макс тихо положил трубку на камень. Спрыгнул на землю, перебросил плащ через плечо и пошел вниз по дорожке, вьющейся среди кустов и разбитых колонн.

Надо было позавтракать (или уже пообедать), но от жары Макса мутило, и он ограничился мороженым в вафельном рожке. В соседней лавочке он купил бутылку "Чивас Ройал", и так, с бутылкой в одной руке и с плащом в другой, он забрался в такси, а затем и взошел на паром, отходящий к Миконосу. Паром был огромен, как Парфенон, и пуст, как Титаник, сошедший со стапелей в двадцать восьмом году и обнаруживший, что ни у кого нет денег на билеты. Макс пошатался по палубе, полюбовался на облаченного в рясу греческого священника, который ел хлеб, аккуратно отщипывая от батона, и так же аккуратно и метко швырял крошки летящим за кораблем чайкам: один кусочек в рот, один чайкам, один в рот. Изучил прейскурант обоих безлюдных баров, хмыкнул и вышел на корму. Там он долго стоял, опираясь на перила, прихлебывая из бутылки и глядя на остающийся за паромом пенный след. Редкие острова выплывали из дымки глыбами камня. Когда паром подходил ближе к берегу, глыбы оборачивались живописными городишками, крытые красной черепицей домики которых тянулись вверх от синезеленых заливов. Рыбачьи лодки покачивались на воде, некоторые лишь чуть крупнее расположившихся тут же чаек и пеликанов. Однако острова с городками были слишком редки, и скоро, от выпивки и от скуки, Макса снова потянуло в сон. Оглянувшись и убедившись, что никто не обращает на него внимания, он забрался в спасательную шлюпку. Подложив под голову свернутый плащ, он вытянулся на скамейке и закрыл глаза.

Разбудили Макса взрывы громкого хохота. Повертев затекшей шеей, он выглянул из шлюпки. Неподалеку от его убежища, на скамейках и просто на палубе расположилась компания парней и девчонок, похоже, студентов – все они были лет на пять младше Макса. Ребята передавали по кругу бутылку вина и косяк. Судя по ржанию и по характерному запаху, молодежь всю нарушала одиннадцатую заповедь: "Не воскури траву ближнего твоего, особенно если трава эта поганого качества". Макс им даже мгновенно позавидовал – он и сам был таким же беззаботным дурачком, когда приехал в Лондон. Вот и эти верят, что мир открыт перед ними, как свежая пачка презервативов... Только тут Макс обнаружил, что его заметили. Сидящая лицом к нему девчонка приглашающе помахала рукой. На секунду Макса одолело искушение присоединиться к компании и вдоволь накуриться их мерзкой травы, а потом так же весело гоготать и не помнить, зачем он на чертовом пароме, не помнить, куда и зачем едет, вообще ничего не помнить и только радоваться общему веселью. Всего лишь на секунду. Макс покачал головой. Тогда девушка отставила бутылку, подхватила свой рюкзачок и подошла к максовой шлюпке.

При ближайшем рассмотрении девица оказалась маленькой, тощей, но при этом с круглым, словно чуть припухшим личиком. Одета она была в мужскую рубашку с закатанными рукавами и искусно разодранные на коленях джинсы. За спиной новой знакомой болталась ковбойская шляпа на тесемке. Еще у девицы имелись собранные в пучок пегие волосы, тоненькие бровки и удивленно-капризное выражение лица. Девица Максону не понравилась.

– А ты неплохо устроился. Можно присоединиться?

Макс неохотно подвинулся. Девица влезла в шлюпку и только тут заметила

стоящую на дне бутылку.

– Оба-на. Путешествуем первым классом. Это что, виски?

Она ухватила бутылку, понюхала горлышко и сморщила нос.

– Фи. В Греции полагается пить вино, а не этот бензин напополам с машинным маслом.

– Не нравится – не пей.

– А, вот ты какой, – улыбнулась девчонка.

На вид ей было от силы лет семнадцать, но Макс неплохо знал ее тип — такая будет выглядеть пигалицей лет до сорока пяти, а потом сразу станет сухонькой, но бодрой старушкой.

– Какой я? – без интереса спросил Макс.

– Невозмутимый. Я таких люблю. Ты наверное невозмутимый, потому что англичанин?

– Это вопрос?

– Это утверждение. У меня полно было парней американцев и канадцев, и они невозмутимые, потому что их ничего не колышет. Нажрутса и лезут под юбку. А англичане невозмутимые, потому что их в детстве научили, что сразу лезть девушке под юбку нехорошо, а надо сначала сделать ей приятное.

– Это пизду полизать, что ли?

Девка Макса определенно достала, и он надеялся, что после такого пассажа шмакодявка отцепится и вернется к своим друзьям. Юлька на любое озвучивание физиологии реагировала примерно как пингвин на электрошок, а просьбу выбрить лобок объявила оголтелым мужским шовинизмом.

– Вообще-то я имела в виду приглашение в ресторан или катание на лодке по озеру, – спокойно ответила девочка. – Или другие традиционные способы обольщения. Но полизать пизду – это даже еще лучше. У меня был один парень, русский, автостопщик, мы затусили в Турции. Так он всю первую ночь трепался о Бродском и Достоевском, представляешь? К рассвету я совсем обозлилась и спрашиваю: мы вообще трахаться будем или как? А он мне: извини, я думал, ты не хочешь, ну и решил, хоть в английском попрактикуюсь. Так что бывают и слишком вежливые. Хорошо, что ты не слишком...

Макс обреченно вздохнул и прикрыл глаза. Когда он снова их открыл, девчонка уже энергично сворачивала здоровенный косяк.

– Меня, между прочим, зовут Рената, – сказала она, облизнув бумагу острым розовым язычком.

– Макс.

– Отличное имя – Макс. Ты куришь траву, Макс? Или ты только топишь свой мозг в алкоголе, Макс?

Макс отобрал у нее косяк и щелкнул вытащенной из кармана зажигалкой. Затянулся, передал косяк Ренате. Пока та дымила, он отхлебнул виски. Жизнь определенно налаживалась.

Рената год назад закончила колледж в Нова Скошии и теперь путешествовала вокруг света. На вопрос Макса, а не обидятся ли ее друзья, девчонка только фыркнула.

– Американцы, что ли? Они мне никакие не друзья. Мы только в Афинах стусовались, в хостеле. Скучно же одной по городу мотаться.

В рюкзаке, кроме пакета с травой, у нее оказался здоровенный фотоальбом. Она попыталась было похвастать фотками из Тайланда, Египта и Австралии, но, натолкнувшись на полное отсутствие интереса, слегка подувяла.

– Какие вы, англичане, все-таки зашоренные. Сидите на своем острове, пьете свой Эрл Грей с молоком и ничего другого видеть и знать не желаете.

– Это из-за ущемленных имперских амбиций, – объяснил Макс. – Мы, понимаешь ли, привыкли, что куда ни приедешь – нам сразу слона, двести слуг и расшитый шелками

шатер. А вместо этого нам гепатит, сифилис и такой счет за гостиницу, что потом два года не разгибаясь пашешь в офисе.

– Ты работаешь в офисе?

– Я вообще не работаю.

– А зачем ты едешь на Миконос?

– За ответом на вечный вопрос.

– О, да, Греция – это очень медитативное место, – обрадовалась Рената. – Я мечтаю позаниматься йогой, сидя на морском берегу, и чтобы шумел прибой и крабы махали клешнями.

– Увидев тебя, крабы не просто замашут клешнями – они ими заплодируют.

– Смеешься? А, между прочим, все наши беды оттого, что мы не находим ни минутки на медитацию и духовное очищение.

– Это точно.

– Когда мы приедем, я научу тебя медитировать.

– Боюсь, – вздохнул Макс, – когда мы приедем, у меня будут другие дела. Так что лучше научи прямо сейчас.

Обучение прервал гудок парома – они подплывали. Макс вытащил руку из ренатиных трусиков. Не сговариваясь, оба путешественника скатились на берег и сняли первую же комнату из тех, что предлагали усыпавшие причал местные ангельстранноприимцы. Комната оказалась маленькой и с отдельными кроватями – но Макс это дело быстро поправил, сдвинув обе кровати вместе. Пока Макс трудился, Рената успела выскочить из одежды – и, как только он обернулся, впилась ему в губы сухим хищным ротиком. Достоевского сегодня не будет, понял Макс, падая на постель и придавливая собой девушку.

Под вызвездившим небом, под черепичной крышей, под ладонью Ренаты и под сомкнутыми веками Макса в комнату вошла Юлька. Огляделась, поджала неодобрительно губы и уселась в старое кресло – то самое, что притащила с помойки в свою мансарду, и Макс хотел его выкинуть, а она не давала, говоря, что самый настоящий девятнадцатый век, резное дерево и чинц. Села, подогнув под себя ноги в линялых домашних шортиках, как сживала всегда. Отдула челку над серьезным и гладким лбом и обвинительно уставилась на спящего Макса.

– Ты специально, – сказала Юлька.

– Ты ведь все придумал, – сказала она.

– Ты же работаешь экспедитором на строительной фирме. Ты следишь за тем, вовремя ли доставлен битый китайский кирпич и бракованная индийская теплоизоляция. Нет никакой криминальной романтики, милый, – сказала девушка.

– Нет гангстеров, и сумасшедшего Лео нет, и нет никаких козлов и никакого Азазеля, а есть только ты и я. Но тебе этого было мало, или, наоборот, слишком много, и ты сам себе рассказал эту дурацкую историю. Ты и со мной не поговорил, потому что знаешь – от малейшего щелчка твоя сказка рассыплется, как эти ваши гнилые коттеджи. Признайся, тебе просто стало скучно. И ты просто решил сбежать от меня, безответственный, жестокий человек, – сказала милая. – От меня и от всех остальных. Вот и получается, что сам ты и есть Азазель.

“Ага, значит, Азазель все-таки существует, – хотелось ответить Макс. – А если есть Азазель, то, извини, есть и гангстеры – да ты же видела Чарли в том клубе на Мэйфэйр, он все хотел к нам подкатиться, и я оттеснял его плечом, чтобы он не успел тебя рассмотреть хорошенько. А он тянулся к тебе коктейлем "Блядь Мери" и, по-дурацки оттопырив губы, повторял "Ю-лиш-ка. Ю-лиш-ка, пошли пить настоящую рюсска вотка". Ты права – он был похож на подвыпившего шведского дипломата, а вовсе не на гангстера. Только я почему-то уже тогда знал, что это добром не кончится”.

Так возразил бы Макс – однако возразить он не мог, потому что спал неглубоким,

но цепким сном очень уставшего человека.

Проснулся он снова на рассвете, когда за шторами едва посерело. Рената сопела ему в плечо. Подушка и отчасти шея Макса были мокрыми от ее слюны. Макс поморщился. Выскользнув из-под простыни, он из чисто спортивного интереса – а отчасти по привычке – запустил руку в рюкзачок девушки. Между прокладками, фотоальбомом и записной книжкой с адресами обнаружился газовый баллончик, несколько одноразовых шприцов и не принадлежащий – судя по водительскому удостоверению – Ренате кошелек. Удостоверение было на имя некоего Пола Вакоби. С фотографии смотрело молодое веснушчатое лицо – кажется, один из афино-американской компании. Где-то ты сейчас, Пол Вакоби, и какими словами поминаешь девочку Ренату? Макс забросил кошелек обратно в рюкзак. Он быстро оделся, плеснул в лицо водой из-под крана и, не принимая душа, вышел из комнаты. Ключи оставил на тумбочке рядом с кроватью.

Макс спустился на дорогу, идущую вдоль берега, и зашагал к городку. Через некоторое время топтать по дороге ему надоело. Он скинул ботинки и ступил на песок пляжа, пересыпанный ракушками и бутылочными пробками. Песок был еще холодный, а вода и того холоднее – октябрь на носу. От моря несло водорослями, рыбой и нефтью. В порту, приткнувшись к левой дуге залива, красовался многопалубный теплоход, белый, как самое белое облако.

Городок только просыпался. Ленивый дворник – или, возможно, сам владелец – мел улицу перед ресторанчиком и приветствовал Макса кивком головы. В других ресторанчиках столы накрывали скатертями, позвякивали посудой. В порту рыбаки, недавно вернувшиеся с ночного лова, разбирали сети и кормили мелкой рыбешкой наглого пеликана. Лодочки утыкали залив, как нарциссы цветочную клумбу. В информационном бюро Максу сказали, что до Ано Меры полчаса езды на автобусе, но ходит и такси. Максу не хотелось ехать на такси. Максу хотелось зайти в ресторанчик, заказать кофе и круассон – или что тут у них дают на завтрак – закурить сигарету и долго, долго смотреть на море, на ряд мельниц, на копошащихся в большом аквариуме омаров, которых только что доставили рыбаки и вечером сожрут пресыщенные достопримечательностями туристы. Хотелось пошататься по узким мощеным улочкам, где едва проезжает мопед, над головой развешано белье, а голоса играющих детей звучат так ясно и радостно, как будто в мире нет смерти. Вместо всего этого Макс подошел к стоянке такси и устроился на заднем сиденье довоенного, похоже, “опеля”.

В “опеле” он опять задремал, и, проснувшись, разозлился – жизни осталось всего ничего, и ту проспишь. Такси вырुливало на центральную – и, похоже, единственную – улицу Ано Меры. Макс расплатился и вылез на горячий булыжник площади. С одной стороны, у закрытых ларьков, сидели за столиком три загоревших почти дочерна, но с белоснежными шевелюрами и усами старика. Старики играли в нарды. Над дальним концом площади виднелась ограда монастыря, черепичная крыша с крестом и алебастровый ствол колокольни. Колокольню украшала резьба, будто стены изгрыз короед. Ветер гнал через площадь газетный лист. По обоим сторонам поселок окружали горы, и там тоже были какие-то дома, виноградники, огороженные решетками загоны для живности – а выше уже только сухой кустарник и козы тропы.

Макс подошел к старикам и спросил "Лео Каракис? Вилла Лео Каракиса?". Один из стариков, самый древний, поднял на Макса бессмысленный, как у козы, взгляд. Пожевав морщинистыми губами, он махнул рукой налево, на дорогу, уходящую, кажется, к морю. Макс поблагодарил кивком и сказал единственное греческое слово, которое помнил, "хайрете". "Хайрете кире", – равнодушно откликнулся старец.

Осеннее средиземноморское солнышко немилосердно пекло. Штаны Макса побелели от пыли, а узкие ботинки, вовсе не предназначенные для ходьбы по горным тропам, основательно натерли ноги. Макс плелся по дороге уже который час, а виллы Лео

Каракиса и в помине не было. Давно осталось позади домики и сады Ано Меры. Сейчас Макс очень жалел, что не заглянул в монастырь, где, наверное, прохлада, сумрачные крипты и плеск небольшого фонтана в мощеном плитами двореке – или хотя бы не купил бутылку воды на автобусной станции. По лбу катился пот, рубашка прилипла к спине и под мышками, плащ, казалось, весил десять стоунов. Макс мысленно проклял заведшего его в эту глухомань старца и решил подняться на холм, чтобы осмотреться. Он бросил ненужный плащ прямо на дорогу и начал карабкаться по едва различимой козьей тропе. Штанины тут же обросли колючками репейника. Сверху было попрохладней из-за свистящего по склонам ветра. Вершину холма – или даже небольшой горы – покрывали здоровенные валуны. Макс протискивался между ними, всматриваясь в азбуку трещин. Трещины и нашлапки мха складывались в странный узор, будто росписи доисторического человека – а вон там, кажется, и впрямь мазнуло охрой, вот человеческая фигурка, лошадь и охотник, держащий копьё. То ли с ним играло шутки расшалившееся воображение, то ли Макс и вправду угодил на первобытную охотничью стоянку. Статичная пляска гигантов завораживала, кружила голову – будто камни и затерявшийся между ними человек не стоят на месте, а с одинаковой скоростью мчатся в диком хороводе. Макс подошел к одному из валунов и на минутку прижался лбом к холодному боку камня. В голове прояснилось – и одновременно путник услышал, что камень тихо гудит, будто напевает медленную песню, одно слово которой длиннее человеческой жизни.

Когда Макс выбрался из лабиринта мегалитов, солнце уже катилось за западный склон. Внизу раскинулось море. У самого берега виднелись бетонные конструкции – похоже, недостроенные виллы. К воде вела непонятная, прямо в воздухе начинающаяся лестница – ее железные ступеньки торчали на метр над обрывом. Макс с сомнением оглядел склон, затем подошел к лестнице и стал спускаться, цепляясь руками и ногами. Спускался он долго. Лестница чуть дрожала под ударами ветра и тоже еле слышно гудела, будто все на этом острове пело, или просто тянуло сквозь зубы одну и ту же мелодию.

На заброшенной стройке не было ни души. Макс зашагал вдоль берега, обходя груды строительного мусора. Через несколько десятков ярдов дорога расчистилась, и по сторонам пошел уже привычный колючий кустарник, вдруг редко пробивающийся чем-то зеленым – один раз это оказался цветок на длинной ножке, другой – бутылочное стекло. Слева грузно дышало море. Быстро сгущались сумерки. Вершины гор еще удерживали солнечный свет, но в низинах засинело. Становилось зябко. Дорожка все приближалась к воде, и наконец, когда солнце совсем рухнуло за горы и все вокруг сделалось фиолетовым и темно-серым, уткнулась в небольшой песчаный пляжик. Посреди пляжа лежало вымытое на берег бревно, бог весть откуда тут взявшееся – на островке редкими были даже оливы. Рядом светлело округлое тельце рыбачьего поплавка, до почти костяной белизны вылизанное приливом.

Макс с облегчением сбросил ботинки, уселся на бревно и вытащил из пачки последнюю сигарету. Огонек зажигалки на мгновение осветил клочок берега и подбирающуюся к максовым ступням волну в белой оторочке пены – а затем все снова кануло в чернильный сумрак, где небо лишь чуть светлее, чем море. Макс оглянулся. Вверху, на склоне, приветливо перемигивались огоньки виллы. Должно быть, это и есть логова Льва, подумалось Максусу. Вот докурю и... Он не закончил мысли. К ногам подкатилась новая волна и ласково лизнула горящие ступни. Искупаться, что ли, промелькнуло в голове Макса. Наверное, будет очень холодно – почти октябрь, в Брайтоне в это время года не купаются даже сумасшедшие. Море опять лизнуло пятки Макса, будто уговаривая с робким лукавством – посмотри же, я совсем не твое ледяное и жестокое родное море, я мягкое, теплое, Средиземное. Ты только войди в меня. Макс выстрелил в песок сигаретный окурок и встал. За все эти душные, краткие, неведомо как промелькнувшие два дня никто не был с ним так ласков, как это чужое море. Он стянул рубашку через голову и расстегнул молнию на брюках.

В первое мгновение вода показалась ослепительно ледяной – но Макс с криком

рухнул вперед, погрузился с головой и тут же выскочил на поверхность, отфыркиваясь. Он поплыл от берега, дыша через рот и рассекая воду резкими ударами рук. Через несколько секунд море уже не казалось холодным – напротив, оно обволакивало кожу приятным теплом. Макс отплыл на сотню ярдов и перевернулся на спину. В лицо ему уставились очи звездного гиганта-Аргуса, до сих пор призревающего за островами Эгейского архипелага. Макс ничего не знал об Аргусе, однако Аргус знал все о Максе и одобрительно подмигнул ему двумя сотнями глаз. Вилла на берегу манила человеческим теплом, светлячками окон – но куда было жалким земным светлячкам до развернувшегося над Максом звездного великолепия? Море толкало его в плечо, смывая пот и кровь, обиду и память. Здесь можно было плыть до тех пор, пока не перехватит дыхание, и легкие не заполнятся солью – но даже и после этого, с приливной волной к берегу, на рассвете.

Над водой разнесся рев – это сигналил выходящий из порта теплоход. Звуковая волна мягко ударила Макса в уши и рассеялась. Юноше вспомнились слова, сказанные старым Шимшоном:

– Последний дар Азазеля людям: свобода не помнить о тех, кого мы оставили на берегу.

Максу захотелось поплыть по лунной дорожке, но луны в небе не было – и тогда широкими и мерными гребками он поплыл по дорожке, оставленной огнями уходящего теплохода.

2009